

ВАЛЕНТИН  
ПИКУЛЬ



СЛОВО  
И  
ДЕЛО



Слово и дело

Валентин Пикуль

**Слово и дело. Книга первая.  
Царица престрашного зраку. Том 1**

«ВЕЧЕ»

1974

## **Пикуль В. С.**

Слово и дело. Книга первая. Царица пристрашного зраку. Том 1 /  
В. С. Пикуль — «ВЕЧЕ», 1974 — (Слово и дело)

ISBN 978-5-4444-8933-8

Роман В.С. Пикуля «Слово и дело» состоит из двух книг: «Царица пристрашного зраку» и «Мои любезные конфиденты». События, описываемые в романе, относятся к эпохе дворцовых переворотов XVIII века, прежде всего к периоду царствования императрицы Анны Иоанновны. Роман передает весь драматизм борьбы патриотически настроенных русских людей против засилья иноземцев во главе с могущественным фаворитом царицы герцогом Бироном, против разграбления богатств России. Книга «Царица пристрашного зраку» разделена издательством на два тома. Первый том охватывает события политической истории России, начиная со смерти в ссылке бывшего фаворита Петра I А.Д. Меншикова до ареста генерал-прокурора П.И. Ягужинского.

ISBN 978-5-4444-8933-8

© Пикуль В. С., 1974

© ВЕЧЕ, 1974

## Содержание

Летопись первая. Государева невеста	6
Глава первая	7
Глава вторая	11
Глава третья	16
Глава четвертая	22
Глава пятая	27
Глава шестая	32
Глава седьмая	38
Глава восьмая	43
Глава девятая	48
Глава десятая	54
Конец ознакомительного фрагмента.	58

**Валентин Пикуль**  
**Слово и дело. Книга первая.**  
**Царица престрашного зраку. Том 1**

© Пикуль В.С., наследники, 2007

© ООО «Издательство «Вече», 2007

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

## Летопись первая. Государева невеста

*Мощно, велико ты было, столетие!  
Дух веков прежних  
Пал пред твоим алтарем ниц  
и безмолвен, дивясь.  
Но твоих сил не достало к изгнанию  
всех духов ада,  
Брызжущих пламенный яд  
через многотысячный век.*

*А.Н. Радищев.  
Осьмнадцатое столетие*

*Никто не уповай на веки,  
На тщетну власть князей земных:  
Их те ж родили человеки,  
И нет спасения от них...*

*Михайла Ломоносов.  
Псалом № 145*

## Глава первая

По самому краю гиблого света течет стылая Сосьва-река. А куда течет – неведомо, и там, за рекой, пусто, только зверь пушистый сигает. Вот на этом-то берегу, распевая псалмы и богохульствуя, одинокий старик с полудня копал могилу.

Ненастно было...

– Ай-ай, дел наделал – всего и не упомнишь!

Зато и был он князь двух империй (Российской и Римской), генералиссимус и ордена Андрея Первозванного кавалер. Сердечный друг, «мин херц Данилыч», его высокое сиятельство Алексашка Меншиков – на краю света, в армяке мужичьем, бородатый и страшный, и вот... видит бог: копает могилу!

Для дочери. Для Марьюшки. Для царевой невесты.

– И вознесо-ох избранна-аго-о, – пропел Меншиков сипло.

А в могиле было ему даже хорошо: не обдувал ветер, что забегает с тундры, не виднелись из ямы постылые крыши Березова-городка. Только чистые облака над головой старика – плывут и плывут в незнаемое.

Под вечер вернулся Данилыч к себе в домишко, что срубил саморучно (бревна-то в два венца клал, окошки-то в кругляк вывел – на зависть одичалым березовцам). Семейство опального князя, выплакивая глаза, сумерничало в нетопленных горницах. Всего двое и остались: сын его Санька да девка малая – тоже Александра. Супругу-то свою, Дарью Михайловну, еще под Казанью навеки оставил – на самом берегу Волги зарыл ее, когда в ссылку обозом тянулись.

– Будет вам! – цыкнул Меншиков на детей. – Пряники-то писаны на Москве остались. И скулить – неча... Мой грех вижу в том, что не отведали вы ранее горбушки серенькой.

Раздул лучину – прошел к покойнице. В кедровом гробу, обитом сукном изнутри, покоилась царская невеста – княжна Марья. А жития ей было осьмнадцать лет. И хвори она никакой не знала – просто тоска приключилась. «В Москву, – плакала перед смертью, – в Москву бы мне...» Торчал теперь из кружев остренький носик, а губы раскрылись в смерти – губы, царем недавно целованные.

Меншиков подул на замерзшие пальцы, долго и неумело вдевал серьги в занемевшие мочки покойницы. Вдел кое-как, и затрясся в рыданиях гордый подбородок:

– Эх, Марьюшка... быть бы тебе императрицей! Почто не отдал я тебя за Сапегу? Жила бы в Польше... Внука бы мне... внука!

После погребения не мог Данилыч отойти от дочерней могилы. Все на другой берег Сосьвы посматривал. А там синел корчеватый лес да стелились вдали тобольские тундры – края постылые, жуткие, безлюдные... И сказал сыну и дочке с лаской:

– Детушки, вы домой ступайте. Не то озябнете, чай!

А сам примерился глазом, сразу помолодевшим. Лопатой отсек добрую сажень и торопко начал копать другую могилу. Рядом с дочерней – только пошире, только поглубже... Страшно стало, и в рев ударились княжата:

– Тятенька, тятенька! Не пужайте нас, миленькой... На што вторую-то грабстаете? Ой, горе нам, сырым Меншиковым...

Данилыч знай копал – быстро и сноровко.

– Не вам, не вам, – ответил. – А имени несчастному моему!

И вскорости правда слег. Сначала интерес к еде потерял. Пил только воду с брусничкой.

Лежа на полатах под шубами, начитывал Данилыч мемуар свой, а княжата записывали. Память не изменяла временщику: баталии да кумпанства, виктории громкие да ретирады стыдные – все он помнил... Все! А однажды поманил к себе сына поближе:

– Глуп ты, чадушко, но смекни. Деньги-то мои при банках надежных лежат – в Лондоне и Амстердаме. Смотри же, Санька: как бы тебе на дыбе из-за них не болтаться...

Юный князь вяло шевельнул бесцветными губами:

– Сколько ж там у нас, тятенька?

– Да миллионов с десять, почитай, набезит... Велик грех!

Тоненько и горестно заплакала дочка:

– Ой, лишенько! Оскома от клюкв и брусник здешних, вишенок бы мне московских из садика... Желаю я на Москве показаться!

Вспомнил тут Данилыч, как отказал жениху ее, принцу Ангальт-Дассаускому, потому как мать его была аптекарской дочкой.

– Терпи, – сказал. – Да за казака ступай здешнего. Что прынец, что казак – едина доля тебя ждет, бабья...

В конце короткой тобольской осени, когда метельные «хивуса» залепили снегом окошки, почуял Меншиков смерть и выпростал из-под вороха шуб свою жилистую руку.

– Вот она... пришла, стало быть, за мною! Ну, так ладно.

Велел камзол нести да брить себя. Без бороды, принаряженный, стал он тем, каким его ранее знали. Даже глаз с искрой сделался – будто в знатные годы. Губы, всегда скупые, размякли, добра.

И все замечал с одра смертного. Эвон паутинка в уголке ткется, у лампадки фитилек гаснет, мышенок корочку в нору себе прячет. Вот и мышенок сей жить останется. Березовская мышь – не московская: что она знает-то? «А я, князь светлейший, помираю вдали от славы и палат белокаменных... Обида-то какая! – содрогнулся всем телом. – Мыши – и той завидую...»

– Прощайте все, – произнес внятно.

Над ним склонился сын – в грудь отца вслушался:

– Поплачь, сестричка: изволили опочить во веки веков наши любезныя тятеньки, Александры Данилычи...

Но глаз временщика открылся снова – круглый.

– Еще нет, – сказал Меншиков. – За мной слово остатнее. Не раз, детушки, помянете вы дни опальные, яко блаженные! И завещаю вам волю отцовскую: подале от двора царева живите. Не совладать вам... Вот и все. А теперь – плачьте!

Матвей Баженов, мещанин Тобольской губернии, хоронил грозного временщика... В мерзлую землю, посреди голубого льда, поставили тяжелую гробовину и засыпали землей пополам со снегом. Великие сибирские реки, во едину ночь морозами смиренные, уже звонко застыли: открылся до Москвы путь санный – тысячеверстный.

...

Долго едет казак на заиндевелой лошадке. Гремят в котелке мерзлые куски шей, наваренных бабою на дорожку, да стучаются в мешке вкусные пельмени. У редких станков ямских пьет казак горючую водку. Корявым пальцем достает из лошадиных ноздрей острые сосульки. Коль не вынешь их – кобыла падет, а казак пропадет.

Больше месяца ехал служивый по сверкающему безлюдью снегов. Но вот потянуло дымком над долиною Иртыша: Тобольск – пупок всей Сибири, город важнецкий, при губернаторе и чиновном люде. За щекой у казака пригрелся серебряный рубль. Ух, и загуляет же казак на раздолье кабаков тобольских, вдали от жены и урядника!

Но допрежь вина – дело. В сенях канцелярии казак сбросил гремящую от мороза доху, ружьецо курком к стенке прислонил и достал пакет из-за теплой пазухи.

– Эй, люди! – объявил казак. – Дело за мной государево да спешное. Во Березове-городке на Аксинью-подзимницу скончал живот свой поругатель царя и отечества бывший князь Меншиков, персона известная... На чью руку мне депеш о том скласть?

А до Москвы от Тобольска еще более двух тысяч верст. Медленно движется обоз из Сибири: посылают соболей да серебро в казну царскую – ненасытную; везут кяхтинскую камку да черный чай, зашитый в кожаные «шири». Под полстью храпит в возке крытом пьянственный поручик (командир обозный). Иной час протрезвеет и гаркнет в лютую морозную ночь:

– Эй, нарроды дикие! Водки бы мне... Хо-адно. Грустно.

Москва же это время жила сумбурно и лиходейно, во хмелю, в реве охотничьих рогов, в драках да плясках. «Эй-эй, пади!» – И по кривым улицам пронесется, давя ползунов-нищих, дерзкий всадник на запаренной лошади. Бок о бок с ним проскачет князь Иван Долгорукий, а за ними гуртом дружным (с белыми соколами, что вцепились когтями в перчатки) промчатся с гиком да свистом доезжачие, кречетники, псари, клобушечники...

И падет народ по обочинам: то сам царь – его величество *Петр Второй*, внучек Петра Первого да Великого. От плоти царевича Алексея, что казнен был гневливым батюшкой, урожденный. А в Воскресенском монастыре, средь кликуш и юродивых, еще доживала свой век его бабка – царица Евдокия Лопухина.

Год 1729-й – год на Руси памятный: канун раздоров, крамол боярских и разливов крови российской...

Ждите, люди, беды народной – беды отечественной!

...

Времечко-то ненадежное – без ласки к людям, без приветности душевной. Вот и воронья на Москве стало много. Старые люди крестились походя: «К беде, стал быть, коли каркают». Ивашке Козлятину, что у Ильи-пророка на Теплых Рядах дьяконствовал, опять виденье было: будто бы покойный царь Петр Алексеич из гроба восстал, а от дыхания его так и пышет. Ивашка в приказе Преображенском пытан был и на огне ленивом, плетьюми дран, показал допытчикам: мол, так оно и было... восстал и пышет!

Приказ Преображенский тот вскоре уничтожили, и притихло бы вроде все: ни тебе «слова», ни «дела». Только у рогаток замшелые дониконианцы на люд прохожий двумя перстами грозились. О Страшном суде покрикивали сердито: «Нонешний Синод – престол антихристов, скоро вера сыщется, и будет людям жить добро, да не долго!» А в кружалах и фартинах царских грамотеи книжные шепотком подметные письма читали. В них о райской землице сказано было. Есть, мол, такая за Хвалынь-морем, идти до нее надобно сорок дён, не оборачиваясь. А коли обернулся, милок, то и пропал...

Крестьянство пребывало на Руси в великом оскудении: войны Петра I прошлись подавляющими по мужицким хлевам да сусекам. Повыбили скотинку, повымели мучицу. Армия тоже притомилась в походах. Изранилась, поизносилась. Люди воинские от семей отбились – блудными девами пробавлялись. А на базарах дрались, воровали и клянчили калеки – обезноженные, обезрученные, стенами крепостными при штурмах давленные, порохом паленные... *Всекие!*

Дорого дались России победы азовские, на лукоморьях Гиляни каспийской да в землях Свейских – полуночных. Теперь офицерство промеж себя толковало так-то:

– Ныне малость и отдохнем! Государь пока младехонек, войны не учнет. Лисичку где на охоте пымает – и рад! Да и Верховный совет тайный, слава те господи, к миру склонен...

А напившись тройной перцовой (которая горит – свечку поднеси), рвали на себе мундиры жиденского суконца, рубили шпагами по тарелкам, плакались горько и себя жалели:

– Мало, што ли, погибло да потопло нашего корени – дворянского? На што нам Питерсбурх да галеры мокрые? Не нанимались в каторгу, чтобы грести по морю веслами... Виват шляхетство!

И правда, Петр II от моря Балтийского отъехал подальше. Как явился в Москву на коронацию, так и остался в покоях дворца Лефортовского, на слободе Немецкой; в уши ему дудели бояре:

– Вот, осударь, Москва-матушка – куды-ы там до нее Питеру, что на болотах ставлен. Тамо-тко и дух гнилой, чухонский. И дичи той нету, а у нас – эвон: из окна стебай лебеда любого – еще десять летит к тебе, чтобы вашему величеству угодить...

Царь-отрок на Москве прижился и закапризничал:

– Что это умники, словно гуси лапчатые, о водах Балтийских пекутся? Не хочу плавать флотски, как дедушка! Велите на площадях указ мой под барабан бить: чтобы под страхом наказания свирепого не болтать никому – вернусь в Питерсбурх или нет! Мое то дело, государство: где желаю, там и живу...

Кляня русские порядки и бездорожье, кутаясь в меха и одеяла, иноземные посольства тоже потянулись в Москву. Поближе к интригам двора, к теплым печам московского боярства, к варварской музыке бестолковых куртагов, к широкоплечим русским красавицам.

Петербург опустел. Замело сугробами едва намеченные першпективы. От Невского монастыря да с чухонской Охты забегали прямо в «парадиз» волки и выедали из будок сторожевых собачек. Иногда рвали в клочья и запоздалого путника. Флот получил из Москвы грозный приказ: «*Далеко не плавать!*»

В один из дней москвичи проснулись от грохота. По кривым проулкам, дребезжа станками, тянулся громыхающий обоз. Это переехал в Москву и Монетный двор. Где власть – там и деньги. А следом за станками ехали великие возы с великими бочками. Везли в этих бочках не рыбу – везли архивы Двенадцати коллегий. Без бумаг, как и без денег, не стало житья русскому человеку.

...

Петру II было тогда всего четырнадцать лет. Дядькою при нем состоял князь Алексей Григорьевич Долгорукий, а воспитание царя-отрока было поручено вице-канцлеру – барону Андрею Ивановичу Остерману, который иногда прокрадывался в двери императора.

– Ваше величество, не пора ли нам занятия продолжить?

Но барона силком выталкивал прочь дядька царя.

– Ступай с богом, Андрей Иваныч, – говорил Долгорукий. – Кака там учеба? Каки еще занятия? Вчера только пороша выпала... Собаки с вечера кормлены... по первопутку волка травить едем!

## Глава вторая

*И по ночам в честные дома  
вскакивал гость –  
досадный и страшный...*

### *Князь Мих. Щербатов*

Спит Москва боярская, развалиясь дворами в темноте сугробов, в тупиках переулков, что бегут от Мясницкой вдоль Тверской-Ямской – аж к лукавому на кулички. Одинокой искрой светится окошко на самом верху Сухаревой башни. Редко проползет в тени заборов хожалый, да хорошо (мертвецки!) спится пьяницам, которых утречком божедомы соберут в одну братнюю могилу – без родства, без племени. И крест водрузят упившимся – един крест на всю братию!..

От рогатки вдруг заголосил страж города:

– Кто едет? Не худой ли человек? А то – вертай вспять...

На сытых лошадях под золотыми попонами ехали от заставы трое в масках, словно разбойники. «Эть!» – сказал один и кистенем вмах уложил стража в сугроб, отлетела в сторону алебарда...

– Куды далее? – спросил другой, постарше да в седле поусядистее. – Сказывают, будто у Салтыковых девки хороши больно.

– Запирают их, – отвечал третий. – Да и собаки злые...

Кистенями взмахивая, ехали далее. Фыркали лошади.

– Чей дом сей? – спросил всадник, самый юный и верткий.

– Апраксиных, кажись...

– Ломай! Тута девки живут, нами еще не мятые...

Старший грузно обрушил забор. Самый юный – худой и тонкий, с голосом петушка – приказывал, а двое покорно его слушались. Взвизгнула отбитая ставня. Тишком влезли через окно в девичью. Старший двери сторожил, а молодые пошли мять девок...

Снаружи – на крик! – ломилась уже хозяйская дворня. Ворвался народ с дубьем и плетками. Впереди всех (лютый, в слезах) наскакивал хозяин, граф Апраксин:

– Бей, убивай разбойников... Я в ответе! Огня, огня...

Вздули огонь, и Апраксин, раскорячив босые пятки, вдруг начал стелиться по полу. Так и пластался, словно раздавленная жаба. И светилось лицо вельможи умильной радостью:

– Ваше величество, почто через окошко жалуете? Завсегда и с парадом принять рады... Ай и молодечество, государь! Вот и выпала благодать нашему дому-то...

Разом упало дубье, вмиг опустились плети. Скинув маску, стоял юный отрок – император. Друг его, князь Иван Долгорукий, штаны подтягивал, а возле дверей ухмылки строил егермейстер Селиванов.

Таились от людей и от света девки – порушенные...

– Брысь, подлые! – шипнул на них Апраксин. – Вы, дуры, еще благодарить бога должны... Честь-то! Честь-то кака!

И просил гостей нежданных откушать чем бог послал. Прошел царь с любимцами своими к столу. Наливки разные пробовали. Юный царь вина не любил.

– Чу, – сказал он, – тихо... Музыка-то откуда идет?

Притихли за столом. А из глубин дома всплакнула флейта. Повела осторожно. Так и тянуло на нее, словно в сон, и спросил князь Долгорукий хозяина:

– Уж не у тебя ли играют, граф?

– Ей-ей, – заерзал старый вельможа, хитря. – Ума не приложу. Видать, гостыюшки дорогие, это из дому Салтыковых слышать...

Но царь встал, на потолки указывая:

– Не ври! Вот тут... веди в покои верхние!

Апраксин снова пластался перед царем:

– Ваше величество, смилуйтесь... Женишка моя, старуха... А человек ейный – на што он вам, молодцам экиим?

– Сказывай – где? – прикрикнул император...

Упали засовы с дверей. Потаенные. Коптила свеча. Прикованный длинной цепью, сидел на полу белобрысый малый в бархатном кафтане. И держал перед собой флейту – нежную, сладкоголосую.

– Ты кто? – спросил царь узника. – Музыкант?

– Нет, – отвечал парень, брэнча цепью. – Я есть куафер графини Апраксиной... Землепашец провинции Нарвской, зовут же меня: – Иоганн Эйхлер... А что играю – так скушно мне!

Ванька Долгорукий цепь поднял с пола.

– Тяжела, – сказал. – А за што ты в железах сиживаешь?

– Сижу на цепи, потому как ведаю женский секрет своей госпожи, и боится она, как бы не выдал я!

– Каков секрет? Говори прямо... Я – царь твой!

– Парик ей делаю, – ответил Эйхлер, низко кланяясь.

– Давно ль прикован ты?

– Пятый уж годочек пошел, как света белого не вижу...

Царь взялся за цепь, и (длинная-длинная) она повела его из темницы. Змеей уходила цепь под двери спальни графини. Хмельная компания вслед за Петром гуртом вломилась в опочивальню: озорник Долгорукий откинул пуховые одеяла: жмурясь от света яркого, старуха Апраксина сослепу тыкалась в подушки, а голова у нее была – гладкая, как колено...

– Отомкни цепь, – велел Долгорукий хозяину. – Бабы секреты не в нашу честь. Мы люди веселые, охотные, а до старух нам дела нету. Прощай, граф! Да отвори конюшни свои – нам лошадь нужна...

Со двора Апраксиных отъехали уже четверо: позади всех жадно дышал ветром чухонец Иоганн Эйхлер; торчала из-под локтя его флейта – жалостливая...

На рассвете четыре всадника, пришпоривая усталых коней, тишком въехали в подмосковное имение Горенки.

...

Рассвет наплывал со стороны Москвы, сиренево сочился в берегах Пахры-реки, осенял застывшие в покое леса. За окнами старой усадьбы в Горенках вьюжило – мягко и неслышно. Господская домовина, поскрипывая дверьми, угарно дымилась печками спозаранок.

Алексей Григорьевич князь Долгорукий (гофмейстер и кавалер) с трудом перелез через супругу, что была поперек себя шире, и нехотя зевнул на иконы.

– Ишь ты, – жене буркнул. – Развалила бока-то... Вставай! Уже кафу варят, чую, быдто в Варшаве живем... О, хосподи!

Свечной огарок раскис за ночь, в опочивальне было мутно и едко. В одном исподнем князь юркнул в сени, с писком разлетелись перед боярином челядные девки.

– Я вам... Кыш-кыш! Глаза-то куда растопырили?

В соседней вотчине князей Голицыных (за рекою, в Пехро-Яковлевском) уже усердно названивали к заутрене. «Богомолы... умники!» – думалось Алексею Григорьевичу, который

никого из Голицыных не жаловал: рознь ветхозаветная, еще от пращуров. Две древние фамилии (Долгорукие от Рюрика, Голицыны от Гедимины) исстари перед царями свары устраивали.

В дальних покоях князь Долгорукий приник к дверной щели. На широкой постели, в обнимку, словно братья, спали его сын Ванька с императором. Порхал над их головами огонек лампадки. Из лукошка под кроватью вылезли малые кутята, в теплых потемках трепали один другого за уши.

И сладостно обомлел Алексей Григорьевич: «Вот счастье-то! Сам государь-император с Ванькою моим дрыхнет... Мне бы честь эту!» – позавидовал отец сыну. Собрал князь одежку царскую, что была второпях разбросана. Не поленился – и сыновью поднял. Низы кафтанов прощупал: полы мокрехоньки, видать, снова на Москву для тайных забав ездили. «Ну не дурень ли Ванька? Ему бы приваживать царя к фамилии нашей, а он... *Пора уже*, – решил князь. – Пора навечно приковать царя к дому нашему...»

С такими мыслями вернулся в опочивальню.

– Ваньку-то, – сказал князь жене, – драть бы надобно по старой науке – вожжами...

– Попробуй выдери, – усмехнулась княгиня. – Сынок-то наш обер-камергер. Да чином по гвардии выше тебя залетел, батька.

– Вроде и так, мать, – согласился князь Алексей. – Да шалить стали много, жалобы слышать на Москве... Собак вот покормим еще с денек и на охоту снова отъедем. Надобно нам государя оттянуть подале от забав и соблазнов московских.

Прасковья Юрьевна враз поскучнела:

– О дочерях-то подумал ли? Девки наши, словно доезжачие панские, по лесам и берлогам так и ширяют. Никакого политесу не стало. Личики на ветру обсохли, воланы закрутить некогда, бедным.

– Оно и ладно, – ответил князь, о своем размышляя.

– Кому ладно-то? – наседала княгиня. – Три дщерицы на выданье, а на Москве показаться не могут: будто леший худой по охотам их таскает... Всех женихов растеряем мы за отбытием нашим!

Алексей Григорьевич мигнул с опаской:

– А его величество... чем не жених нашей Катьке?

– Эва! – заплескала княгиня руками полными. – Болтаешь ты, батька родный, попусту. Проморгал ты, светик: Катеньку нашу граф Миллезимо из послов цесарских давно выглядывает. И домок себе за Яузой снял, чтобы к Лефортову быть поблизости...

– Дипломату сему, – посулил князь, – перешибу ноги палкой. Вот и пуцай до Вены своей на костылях пляшет!

– Уймись, батька мой ненаглядный, – укоряла его княгиня с нежностью. – Ни свет, ни заря, не пимши, не емши, а ты уже и вожжи и палку помянул... Миллезимо-то – чай, выдывал? – кавалерчик сахарный. Умен – страсть как! Катенька сама глаз на него вострит...

– А ты, дура генеральная, что дуре Катьке потакаешь!

– Так какого же тебе еще жениха надобно?

– Через ручей за водой к реке не ходят, – отвечал ей муж. – На што Катьке кавалер сахарный, коли в светелке у нас сам император в растяжку спит... Смекнула?

Прасковья Юрьевна затряслась двойным подбородком:

– Будет залетать-то тебе! Не ты ли помогал Меншикова сожрать с его невестушкой? Тото, гляди, князь-душа: на каждого волка в лесу по ловушке... Попадешься и ты на зуб к Остерману!

– Я-то? – загордился Алексей Григорьевич. – Да моего Ваньку от царя никакой Остерман не отклеит. Вся гвардия – вот здесь, под рукой у меня! Любого раздавлю – только сок брызнет...

Долгорукий накинул кафтан с пуховым подстегом, вынул кружева из манжет – широкие, ясновельможные, из польских земель вывезенные. И приник к испуганному лицу жены своей:

– Ведомо тебе буди, княгинюшка, что дому Романовых не привыкать к нашей фамилии! Вспомни-ка – кто была жена царя Михайлы Федоровича? – *Долгорукая*... То-то! Уразумела теперь?

Прасковья Юрьевна так и бухнулась перед иконами:

– Господи! Простишь ли князя моего в гордыне великой? Вознесся он... во грехах своих и алчности вознесся!

...

За окном просветлело солнечно, от старой Владимирской дороги, обсаженной вязами, запели по морозцу мужицкие дроги, и коронованный отрок проснулся.

– Вань... а Вань, – стал он тормозить Ивана Алексеевича. – Князьинька, друг сердешный... Да когда же ты откроешь гляделки свои? Что делать сегодня станем?

Долгорукий разлепил глаза, провел ладошкой по большим красным губам. Лоб его был бледен и чист – без морщинки.

– Что делать сей день? – спросил, потягиваясь. – Надо бы вашему величеству иной раз о заботах государства своего потужить!

– Что ты, друг мой, – поскучнел царь. – Умней барона Остермана не будешь. Да и члены совета Верховного даром, што ли, хлеб свой едят? Вот и пусть об России беспокойство имеют... А мне испанский дука де Лириа обещался мулов подарить, да не везут все мулов. Боюсь я – не обманет ли меня дука испанский?

– Мадрид далече, – отвечал князь Иван. – А моря бурные. Один корабль дука напротив Ревеля разбило. Дука без денег, долги вокруг кошеляет. Мы с дукой в приятелях, он мне тоже андалузских лошадей обещал, да корабли ныне редко приходят...

Долгорукий подавал царю одежды, но обувать его не стал:

– Сами, ваше величество... Чай, не маленькие!

Царю было лень с пряжками возиться, он башмаки отшвырнул.

– Ладно, – сказал. – И в валенцах хорошо побегаю сегодня.

– Фриштыкать чем будете? – спросил его куртизан.

– А совсем не буду севодни... Не хочется! Вчера объелся!

– И не надо, коли так. Еще живее обед проглотим...

Петр радостно запрыгнул на подоконник:

– Хорошо как здесь... Милы мне Горенки ваши!

Князь Иван раскрыл скляницу, достал горстку перьев.

– Ваше величество, – сказал учтиво, – но и в Горенках делами беспокою... Кой месяц уже бумаги важные по лесам блуждают!

– Ой, Иван Алексеич, неужто ты меня за стол приневолишь?

– Коли вы меня, государь, и вправду любите, то... садитесь. Бумагам важным, министрами уже одобренным, апробации учинить от вас надобно. И меня пожалейте: люди придворные, завистливые и без того клеветают, будто мы, Долгорукие, вас по охотам таскаем, от дел государственных вовсе избавили...

Ласковым таким манером залучил царя за бумаги. А сам встал за спиной его, подсказывая – быть или не быть по сему. Из-под пера, свирепо брызгаясь, выбегали пауки подписей: Петрь, Петрь, Петрь...

– К делу ярыжному не прилежу душою, – сказал царь, перо отбрасывая. – И горазд не люблю писать чернильно... Сбегаю-ка я лучше до псарен, а ты поставь подписи под руку мою. Сам знаешь!

И кубарем катился отрок-царь по лестницам – в хрусткие сугробы. Лес вдали, там олени и кабаны, – вот рай-то! Растирая щеки, хваченные морозцем, домчал император до псарни –

особый дом, большой, вровень с усадебным (охота Долгоруких испокон веков славилась). А навстречу царю – егермейстер Селиванов, в ранге полковничьем, в мундире сукна зеленого, сам пьян и весел.

– Ай да государь! – орал еще издали. – Как раз овсы варим, собак чтобы потчевать... Не желаете ли, ваше величество, бурду собачью мешать в корыте?

Тысячная свора борзых и гончих встретила царя голодным лаем. Император сразу заспешил: кидал жаркие поленья в печи, веслом половника мешал в котлах густое собачье варево. А на длинных шестах, под потолками птичников, сидели в черных клубочках, словно монахи, соколы да кречеты. Рвали они когтями красное свежее мясо, и капли крови летели вниз – на людей челяди...

Вошел князь Алексей Григорьевич, присмотрелся к «апробациям» и не мог отличить руки царя от руки сыновьей.

– Перенял славно... ловок ты! – похвалил князь сына.

– Не осрамлюсь, батюшка, – отвечал ему Иван Алексеевич.

И тоже направился на псарню. Там, среди собак, они и обедали. Им было не привыкать! Иогашка Эйхлер обедал с псалями. А вечером был зван с флейтой наверх – к царю, где играл умирительно. После чего ужинал при князе Иване Долгоруком. Так он стал куртизаном при куртизане.

## Глава третья

Верховный тайный совет вершил судьбы империи. Совещались министры в Оружейной палате Кремля, куда еще затемно пришли Василий Степанов (правитель дел) и Анисим Маслов (секретарь Совета). Людишки они так себе, мелкотравчатые, но зато близ высоких особ и сами в силу входили.

Раненько явился граф Рейнгольд Левенвольде (камергер и посол герцога Курляндского), красавец писанный, бабник ловкий. Вынул он из собольей муфты пакет, промолвил вкрадчиво:

– Ея светлость Анна Иоанновна, герцогиня Курляндии и Семигалии, изволят писать высоким господам министрам.

– Ежели ея светлость, – отвечал Маслов, – вновь о денежных дачах печется, так тому вряд ли бывать, ибо господа министры верховные в деньгах сами весьма озабочены.

Левенвольде кивнул, и две громадные серьги в ушах дипломата брызнули нестерпимым блеском. Пошевелил пальцами, и вновь засияло вокруг от множества бриллиантовых перстней.

– Курляндия, – произнес посол, – маленькая и бедная, а Россия большая и богатая... Ея светлость Анна Иоанновна немного и просит от щедрот русских... Червонцев сто – не более!

Стали собираться министры. Пришел, на трость опираясь, старый канцлер Гаврила Иванович Головкин, и сразу на икону письма холуйского полез – целовал Христа в тонкие пепельные губы. Явился следом приветливый Василий Лукич, князь Долгорукий, версальский баловень, иезуит тайный, пройдошистый. Притащился, вынув из ушей вату, вице-канцлер барон Андрей Иванович Остерман – человек иноземный – и вату отдал Степанову.

– Куды-нибудь брось ее, – сказал Остерман по-русски.

Показался старейший верховник князь Дмитрий Михайлович Голицын, и Анисим Маслов разоблачал князя от шуб, а старик Голицын, долгонос, быстроглаз, поцеловал Маслова в высокий лоб умника.

– Спасибо, сыне мой Анисим, – поблагодарил за услугу.

Позже всех прикатил из Горенок князь Алексей Долгорукий, и Верховный тайный совет начал работу...

– Как быть? – спросил Степанов. – Герцогиня Курляндская из Митавы слезьми худо плачется: посол граф Левенвольде с петухами «петичку» принес: пособить просит – деньгами или припасами!

– Охо-хо, – завздыхал Дмитрий Голицын. – Где взять-то? Русь и без того поборами догола выщипана.

Остерман поглядывал на всех из-под зеленого козырька.

– Поелику, – сказал он, туману подпуская, – герцогиня Анна суть от корени царя Иоанна, а сестрицы ее Екатерина и Прасковья на Москве от нас удовольствие имеют, то и почитать сие нам убытка не обнаружится... Dixi! – закончил Остерман по-латыни.

– Чего, чего, чего? – очнулся от дремы канцлер Головкин.

Василий Лукич прыснул в кулак смешком ребячливым.

– Уж ты, ей-ей, прости меня, барон, – сказал он Остерману. – Но тебя разуместь трудно: дать на Митаву или не давать?

Остерман через козырек всех видел, а его глаз – никто.

– Оттого, князь Василий Лукич, не разумеет ты меня, – заговорил он обиженно, – что язык-то российской не природен мне. Да и невнятен я ныне по болести своей – давней и причинной.

Князь Алексей Долгорукий показал свою ревность.

– А коли так, – зашпынял он Остермана, – коли языка нашего не ведаешь, так на кой ляд ты, барон, вызвался нашего царя русской грамоте обучать? Или тебе, вице-канцлеру, делать нечего?

Старый канцлер Головкин скандал учуял и сразу затрепетал.

– Дадим на Митаву или не дадим? – спросил дельно.

И тогда поднялся князь Дмитрий Голицын, объявил властно:

– Герцогиня Курляндская от корени нашего. Верно! И пособить ей мы бы и рады. Но каждому ведомо, что на Бирена да прочую немецкую сволочь денег русских не напасешься. А посему полагаю тако: *пока* Бирен при герцогине, то и посылать на Митаву дачей наших не следует... Сорить легко, добывать трудно!

Великий канцлер империи показал на песочные часы.

– Анисим, – велел секретарю, – переверни-ка...

Маслов часы перевернул. Тихо заструился золотистый песок: полчаса – время на размышления. Но князь Дмитрий Голицын часы те взял и перетряхнул песок обратно. Был он горяч – сплеча рубил.

– Митавские слезницы, – выкрикнул злобно, – того не стоят, чтобы полчаса на них изводить. Лучше бы нам под песок этот, пока он попусту сеется, о нуждах крестьянских поразмыслить. О торговле внутренней! О сукна валении! Да и о прочем...

Рейнгольд Левенвольде через секретарей выслушал отказ.

– Странно! Мы же немного и просили от такой богатой России! Червонцев сто – не более...

Внизу, у подъезда Кремля, его ждал возок, крытый узорчатой кожей. Курляндский посол нырнул под заполог, и кони понесли его в пустоту морозных улиц.

...

Холодно испанцу на московских улицах...

Герцог Якоб де Лириа и де Херико (посол Мадрида в России) сунул нос в муфту, царем ему даренную, заскочил в санки. Два русских гудошника, за пятак до вечера нанятые, при отъезде посла заиграли гнусаво. Отставной солдат-ветеран (без ноги, без уха) ударил в трофейный тулумбас персидский, где-то в бою у Гиляни добытый. И посол отъехал – честь честью, со всей пышностью.

Рукоять меча иезуитов – в Риме, но острие его повсюду (даже в Москве). Герцог прибыл сюда не в сутане, а в платье светском, под которым удобнее затаить «папешский дух». Сидя в мягком возке, уютно и покойно, он сказал секретарю своему:

– Благородный дон Хуан Каскос! Здешние гнилостные лихорадки происходят по причине неуместных запахов. А посему, кавальеро, дышите на Москве только в половину дыхания, не до глубин груди. И чаще принимайте сальвационс по рецепту славного врача Бидлоо!

Что ни улица Москвы – то свой запах. Сычугами несло от места Лобного; на Певческой подгорали на жаровнях варварские масляные оладьи; из лубяных шалашей, что напротив Комедиантского дома, парило разварной рыбой; а на Тверском спуске пироги с чудскими сетками воняли удивительно непривычно для испанского гранда.

Возле дома Гваскони, что был отстроен для духовной «папешской» миссии, герцог де Лириа велел задержать лошадей. В прорезь двери посла ощупал чей-то пытливый глаз. Долго лязгали запоры... В темных сенях герцог сбросил шубу, и на широкой перевязи поверх жабо качнулся «золотой телец» – овца, перетянутая муаровой лентой под самое брюхо.

– Моя славная овечка! – засмеялся посол. – Увы, мой туассон скоро будет заложен, ибо король не соизволил прислать нам жалованье...

Эти слова расслышал человек, замерший наверху лестницы; острый подбородок его утопал в черных брабантских кружевах; руки – цепкие – в перчатках черных перебирали четки.

– Аббат Жюббе! – воскликнул де Лириа, поднимаясь по ступеням. – Как я счастлив снова вас видеть в Москве...

Вдетые в поставцы, курились благовонные бумажки. Аромат их дыма был необычен, душист и сладок. Кружилась голова, и было легко... Два «брата во Христе» долго беседовали.

– Полы моей сутаны, – говорил Жюббе, – в отличие от вашего кафтана, герцог, очень коротко подрезаны, дабы не возбуждать подозрения русских. И за благо я счел называть себя учеником Сорбонны, ибо кого пришлет Рим, того Московия не примет...

– А много ли рыбы в нашем неводе? – спросил де Лириа. – И что за выгода нам от вашей духовной дочери – Ирины Долгорукой?

– Она – Долгорукая по мужу, но урождена княжной Голицыной, и в этом, поверьте, герцог, ея главная женская прелесть...

– Какое счастливое совпадение! – заметил де Лириа.

– О да... Долгорукие и Голицыны – их много! А в них – вся сила фамильной знати. Именно через их могущество нам можно обратить заблудший народ к истинной вере. О князе Василии Лукиче Долгоруком вы извещены, герцог: еще в Версале он был тихонько отвержен от презренной схизмы. А ныне он – министр верховный! Государь еще мальчик, душа его – песок, который вельможи бездумно пересыпают в своих пальцах... В сетях моих бьется сейчас прекрасная княгиня Ирина, но невод мой тяжел и без нее!

– Я наслышан о князе Антиохе Кантемире, – напомнил де Лириа.

Длинные пальцы аббата сложились в замок на впалом животе:

– Человек блестящих дарований и... мой искренний друг. Будучи высокого происхождения, князь Антиох не имеет родственных корней среди русской знати. Его корни там... в Молдавии, откуда вывезли его ребенком! Да, он помогает мне в расстановке невода, хотя и далек от слияния наших церквей. Это ум для ума, слова ради слов, но... где же дело? Сейчас Кантемир переводит для меня благочестивые сочинения Сорбонны на язык московитов. Дружба со мною не мешает ему дружить и с Феофаном Прокоповичем...

После чего разговор двух иезуитов снова вернулся в прежнее русло – они заговорили о Долгоруких. По их мнению, князя Долгорукие вскоре обязательно должны повторить попытку князя Меншикова.

– Дядька царя, – пророчил Жюббе, – наверняка подведет свою дочь Екатерину под царскую корону... То, чего не удалось свершить прегордому Голиафу – Меншикову, то удастся Долгоруким!

– А вас не пугает, аббат, что у русского царя есть соперник? Княжна Екатерина пылко влюблена в имперского графа Миллезимо.

– Только одно мое слово послу Вены, – ответил Жюббе, – и этого цесарца не будет в Москве завтра же. Никто не смеет мешать великому Риму, а нашей церкви выгоден этот брак – брак Долгорукой с императором... Впрочем, – слегка нахмурился Жюббе, – в этой варварской стране молнии иногда разят среди ясного неба, и един всевышний ведает судьбы людские!

Герцог де Лириа встал, и «золотой телец» долго еще качался на его груди, подобно маятнику. На прощание Жюббе подарил ему пачку благовонных бумажек.

– Откуда это у вас, аббат? – удивился посл.

И в ответ ему тонко усмехнулся аббат Жюббе-Лакур:

– Не проговоритесь Риму о моем кощунстве, но Московию я почитаю центром вселенной. Отсюда, из дома Гваскони, мои руки уже протянуты к Шемахе, они бесшумно отворили ворота Небесной империи и даже... Откуда, вы думаете, эти душистые бумажки?

Де Лириа глубоко вдохнул в себя благовонный дым:

– Не могу поверить... Неужели из Тибета?

– Вы угадали, герцог. Солдаты Иисуса сладчайшего уже взошли с крестом божим на вершины гор загадочного Тибета... Нет путей в мир Востока иных, нежели путь через Москву. *Аминь!*

...

А за Яузой, что бежала под снегом, в оголенных кустах боярышника и берсеня, уже припекало солнышко...

Граф Альберт Миллезимо, секретарь посольства Имперско-Германского, наслаждался бегом русских коней. Лошадиные копыта взрывали комья рыхлого снега, бился в лицо венского графа сладкий московский ветер... Молодой дипломат не скрывал своего счастья: пусть все видят на Москве – едет жених, едет возлюбленный Екатерины Долгорукой! Счастлива юность – даже на чужой стороне. И думалось – с нежностью: «Ах, милая княжна, с ногами длинными, с важной поступью боярышни, скоро блистать тебе на балах в прекрасной Вене!»

– Вон летят сюда галки, – показал слугитель Караме. – Не пора ли вам, граф, опробовать свою новую фузею?

Миллезимо вскинул ружье – выстрелил. Над притихшей Яузой, над усадьбами, утонувшими в снегах, четко громыхнуло. А со стороны дворца Лефортовского, скользя и падая, бежали по солнечной ростепели русские гренадеры. На ходу они примыкали штыки.

– Что бы это значило? – удивился Миллезимо...

Первый же гренадер, добежав до посольского возка, рванул Миллезимо из саней наружу, атташе запутался ногами в полсти.

– О, какое лютое наказание ждет вас за дерзость эту! – кричал он по-чешски, надеясь, что русские поймут его.

Лошади дернули – Миллезимо остался в руках гренадеров, и они поволокли атташе через речку по снегу.

– Куда вы меня тащите? – спрашивал он.

На крыльце дома князей Долгоруких стоял, налегке, без шуб, сам хозяин – возможный тесть легковерного цесарца. Гренадеры доволокли Миллезимо и бросили его возле ступеней.

– Любезный князь, – поднялся атташе, – что происходит на глазах всей слободы Немецкой? Я жду ответа и гостеприимства, каким столь часто пользовался в вашем доме.

– Весьма сожалею, граф, что вы попались этим молодцам. Но таково поступлено с вами по воле государевой.

– В чем провинился я? – спросил Миллезимо.

– По указу его величества под страхом наказания свирепого запрещено иметь охоту на тридцать верст в округе Москвы...

В мутном проеме окна Миллезимо вдруг разглядел испуганное лицо княжны Екатерины Алексеевны и загордился сразу:

– Указа я не знал. Но я стрелял по галкам.

Долгорукий плюнул под ноги цесарца и спиной к нему повернулся, уходя прочь. Лица княжны в окне уже не виделось. Значит, не блистать ему в Вене с русской красавицей... Вышел на крыльцо лакей-француз и сказал:

– Не обессудьте, сударь, на огорчении: в этом доме принимают русского императора, но совсем не желают принимать вас...

Отвадив Миллезимо, князь Алексей Григорьевич сыскал в комнатах свою любимицу – Екатерину. Еще издали оглядел дочь: «Хороша, ах, до чего же хороша bestия... Воистину – царский кусок!» Княжна стояла возле окна, и по тряске плеч ее отец понял: видела дочка, как отшибали цесарца, и теперь убивается...

– Ну-ну, – сказал поласковой, – будет грибиться-то... Экими графами, каков Миллезимо, на Руси дороги мостят!

Лицо дочери – надменное, брови на взлете – саблями.

– Я, тятенька, вашим резонам не уступлю, – отвечала. – Кто люб, того и выберу. Девушки варшавские эвон какие свободы ото всех имеют. Даже по женихам без мамок одни ездят...

Алексей Григорьевич поцеловал дочь в переносие:

– Слышь-ка, на ушко тебе поведаю... Государь-то наш император уж больно охоч до тебя, Катенька.

– Постыл он мне! – отвечала княжна в ярости.

– Да в уме ли ты? Подумай, какова судьба тебе выпадет, ежели... В карты с ним частенько играешь. Иной раз и за полночь! Ты его и приголубь, коли он нужду сладострастную возымеет.

– Тьфу! – сплюнула княжна. – Гадок он мне и мерзостен!

Посуровел князь, обвисли мягкие брыли щек, плохо выбритых.

– Это ты на кого же плюешь?

– Да уж, вестимо, не на вас же, тятенька.

– А тогда – на царя, выходит? На благодетеля роду нашего?

Взял косу дочкину, намотал ее на руку и дернул. Поволок девку по цветным паркетам (тем самым, кои из дома Меншиковых украл и у себя настелил). Трепал Катю да приговаривал:

– Нет, пойдешь за царя! Пойдешь... Быть тебе в царицах российских. Поласковой с царем будь...

Трепал свою Катю без жалости. Потому как знал ее нрав.

Не пикнет!

...

Винный погреб испанского посла дважды бывал затоплен в Петербурге (при наводнениях). Он перевез его теперь в Москву и каждую бутылку ставил в счет своему королю... Сегодня в испанском посольстве – ужин для персон знатных.

– Продолжайте, мой друг, – сказал де Лириа, обращаясь к князю Антиоху Кантемиру, и тот заговорил:

– Смело могу изречь, что племена суть восточные ничем не ниже племен западных, и великий Епиктет, родоначальник философий моральных, тому мне немало способствует...

– Ну зачем ты все врешь, Антиюшка? – грубо перебил его молодой граф Федька Матвеев, на стульях вихляясь, и стало тихо.

– Я вас, граф, – заметил де Лириа, – прошу не мешать.

– А я тебя не знаю, – отвечал пьяный Матвеев послу Испании.

– Позволительно ли бывать в доме, хозяина коего вы не знаете? Вы нанесли мне, граф, оскорбление, сославшись на незнание особы, коя при дворе российском от имени короля моего поверенна, и прошу вас, граф, выбрать оружие для благородного поединка...

Матвеев взял бутылку с мозельским (в 50 копеек на русские деньги) и запустил ее в испанского посла.

– А теперь, – сказал де Лириа, – я буду требовать удовлетворения. Но уже не от вас, дикаря, а от вашего правительства...

Вскочил хмельной князь Ванька Долгорукий (куртизан):

– Еще чего – верховных беспокоить... Эй, люди! – кликнул он со двора гайдуков своих. – Ведите графа Федьку на двор и расстилайте его. Пять палок по задку его сиятельства не мешают...

Не поленился – сам сбегал и вернулся обратно, учтивый:

– Дал все десять, с задатком, чтобы неповадно было... Ваша светлость, удовлетворены ли вы?

– Вполне, – отвечал де Лириа, снова повернувшись к притихшему Кантемиру. – Продолжайте же, мой юный друг. Вы остановили свое красноречие как раз на философии Епиктета...

Кантемир от Епиктета перешел к Фенелону. А с улицы еще долго кричал им Федька Матвеев словами зазорными:

– Собрались... эки умники! Я тебе, Ванька, не прощу. Коли попадешься мне, стану бить палкой неоструганной, чтобы занозы из зада вынимал ты долго...

Прощаясь с гостями, де Лириа задержал Долгорукого:

– Вы так любезно вступились за мою дворянскую честь. Благодарю, благодарю... Но скажите, не сможет ли вам отомстить этот наглый гуляка Матвеев?

– На Руси, герцог, – мудро отвечал куртизан, – мстит родня. А у Федьки из родни одна мать, коя состоит ныне гофмейстериной при дворе герцогини Курляндской Анны Иоанновны.

– Анна Иоанновна... А кто это такая? – спросил де Лириа.

## Глава четвертая

«Бытие Руси, – говорил Остерман, – определяется наличием немцев в России: главные посты заняты нами – значит, Россия на пути к славе, посты заняли русские – значит, Россия пятится к варварству...» Но такие речи слышали одни земляки его.

Сын пастора из Вестфалии, Генрих Иоганн Остерман недолго в Иене науки штудировал. Вокабулы кое-как постиг, а метафизики не смог объять разумом. Куда деться бедному студенту?.. Старший братец Остермана – Христофор Дитрих (или Иван Иванович) уже прижился в России: на селе Измайловском обучал он дочерей царя Иоанна Алексеевича «благолепию телесному, поступи немецких учтивств и комплиментам галантным». Бедный студент Генрих Остерман тоже нанялся к русскому адмиралу Корнелиусу Крюйс: ботфорты ему чистил да пиво студил. И адмирал в настроении похмельном вывез Остермана в Россию, где его и стали величать Андреем Ивановичем... Давно это было!

А сейчас Остерману уже под пятьдесят. Он вице-канцлер империи, он начальник главный над почтами, он президент Коммерц-коллегии, он член Верховного тайного совета... Жарко стреляют печи в старобоярском доме Стрешневых, на дочери которых женат вице-канцлер. Андрей Иванович сиживает в креслах на высоких колесах. Шлепая ладонями по ободам, покатывает себя по комнатам. Блеск русского самодержавия озаряет чело барона...

Коптят тонкие сальные свечечки – вице-канцлер бережлив (копит на старость). Ноги укрыты пуховым пледом, очень грязным. Над бровями – зеленый зонтик, чтобы глаза бесстыжие прятать. Служба у Остермана наитончайшая – конъюнктуры при дворе и козни европейские занимают его воображение. Отсюда, из душных стрешневских покоев, Остерман – как паук – тклет незаметную паутину, в которой скоро запутается, противно и липко, все Русское государство.

Захлопали двери внизу дома, потянуло туманцем.

– Марфутченоч моя... пришла, – обрадовался барон.

Марфа Ивановна, баронесса Остерман, боярыня дородная, породы столбовой, знатной. Под стать мужу своему – грязная. И характером – побирушка...

– Вот пильсын моему Ягану! Левенвольде шлет!

Остерман на лету поймал апельсин – дар из завоеванной Гиляни. Понюхал волшебный плод, уже побывавший в кармане курляндца.

– Вижу, что Марфутченоч любит своего старого Ягана, – сказал он ласково (на языке русском, добротнo и хорошо скроенном).

Вице-канцлерша подпихнула под него плед, откатила коляску поближе к печкам, прожаренным так, что плюнь – зашипят. Слов нет, очень любила Марфа Ивановна своего немца. Да и было за что любить: не пьянствует ее Яган, не кочевряжится и не шумствует, как иные. Знай себе тихо и благочинно ведет разговоры с людьми иноземными...

– Что видела, Марфутченоч? Что говорят на Москве?..

Вести были дурные: случай с Миллезимо возмутил Немецкую слободу. Дипломаты и без того жаловались – месяцами не было аудиенции при дворе, Петр круглый год на охоте, в отъездах дальних, Долгорукие всем скопом своих сородичей заслонили от мира царственного отрока... А теперь посол венский, граф Франциск Вратислав, будет просить сатисфакции. Посланники выражали Остерману возмущение поступком Долгоруких. Но вице-канцлер уже загородился от них козырьком и стал говорить столь невнятно, что сам себя уже не понимал:

– Поскольку его величество император цесарский благоволит к государю нашему, надлежащее удовлетворение при том, что граф Вратислав болен апоплексически, для нас весьма прискорбно, но его величество властен, как самодержец, отдавать любые указы, для чего и почту себя обязан...

Великий канцлер Головкин в дела не вмешивался – давно уже политикой ведал Остерман, и многие пытались в тарабарщине его разгадать великий смысл и мудрость. Вратислав первым понял, что сатисфакции не будет, и вызвал посрамленного Миллезимо к себе.

– Ваши дурацкие выстрелы, – сказал посол, – раздались кстати для Долгоруких. Свадьба состоится, но ваша голова никак не пролезет в жениховский венец... Все! Собирайтесь-ка в Вену...

Перед сном к Миллезимо проникла сама княжна Екатерина Долгорукая. Со слабым стоном (куда и гордость ее девалась?) припала она к ногам красивого венца.

– Умоляю, – шептала, – скорее увезите меня отсюда. Меня продают... Уедем, уедем. Я так буду любить вас! Но только не оставляйте меня здесь одну...

– В уме ли вы? – оторопел Миллезимо. – Я облечен доверием его величества императора Карла; ссора наших дворов... Нет, нет! Умоляйте не меня, а своего отца!

Княжна губу выпятила, блеснул ряд зубов – мелких.

– Стыдитесь, сударь, – ясно выговорила она. – Княжна Долгорукая, презрев резоны чести и благородства, пришла к вам любви просить, как милости... А вы? О чем говорите девице несчастной? Будьте же рыцарем... Варшавские кавалеры, – добавила с ядом, – те вот так никогда не поступают!

– Уходите скорее, – растерялся Миллезимо. – Боже, как вы неосмотрительны. Нам следует учиться осторожности...

Долгорукая выпрямилась во всю свою стать – в надменности.

– Ах, трусливый шваб... ну, ладно! – прошипела она. – Ты еще подползешь ко мне, словно уж... На коленях! Чтобы руку мне целовать, как русской царице!

Миллезимо в страхе побежал будить болящего графа Вратислава, желая поведать ему об очередной конъюнктуре.

– Вы, кажется, толковый дипломат, – похвалил его посол. – Но, великий боже, до чего же вы – дрянной кавалер!

– Я люблю ее! – воскликнул Миллезимо.

– Увы, – вздохнул посол, отворачиваясь, – так не любят...

...

Царедворец гордый и лукавый, князь Алексей Григорьевич Долгорукий страстно нюхал воздуха весенние – подталые... Чем пахнут? Царь-отрок в свою родную тетку влюблен, в цесаревну Елизавету Петровну: сколько уже костров с нею в лесах спалил, у ног ее воздыхал да вирши писал любовные. И, чтобы соблазна царю не было, еще по снегам раскисшим умчал Долгорукий царя из Москвы – травить зайцев по слякоти, по лужам, по брызгам. К ночи император от усталости, где упадет, там и спит. Зато никаких теток в голове – только придет подушку поправить княжна Катерина, тому батькой своим наученная...

Царская охота двинулась к Ростову, а от Ростова – на Ярославль: бежали, высунув языки, многотысячные своры гончих, ревели в пущах рога доезжачих, взмывали в небеса, косоногого выглядывая, белые царские кречеты. А под вечер раскинуты шатры на опушках, до макушек берез полыхают костры. Городам же, возле коих удавалась охота, юный Петр II дарил грамоты с похвалой о русаках и медведях – с печатями и гербами, как положено.

Только в июне, в разгар лета, вернулся государь на Москву – прямо в Лефортово. Длинноногий, высохший от бесконечной скачки, заляпанный грязью до пояса, царь (в окружении любимых борзых) взбежал на высокое крыльцо.

– Жалость-то какова! – огорчился царь. – Хлеба мужицкие поднялись в полях высокие – мешают мне забаву иметь...

Но утром – царь еще и глаз не открыл...

– Ваше величество, – доложили ему, – кареты поданы.

– А куда нужна ехать? – спросил, зевая.

– Вас уже в Горенках ждут: огненная потеха готовится...

Внизу дворца сидел Остерман – стерег пробуждение царя, как ворон падали.

– Некогда, Андрей Иваныч! – крикнул ему на бегу император. – Видит бог: не до наук мне ныне. Потом вот уж, погоди как вернусь, ты меня всему сразу научишь...

Громы с молниями трясли небеса над Москвою: вокруг гибли в пожарах мужицкие деревни, полыхали дворянские усадьбы. Много ли зальешь огня молоком от черной коровы? Жарко было, до чего же душно! Ну и лето выпало... Свистали в лесах разбойные люди, жестокий град побивал хлеба, иссушило их солнце...

О, Русь! Русь!

Все лето 1729 года прошло в охотничьих азартах, а под осень замыслили Долгорукие новый поход на медведей и зайцев. Теперь они уводили царя за 400 верст от Москвы – подальше от слободы Немецкой, прочь от красивой тетки-цесаревны. Шли на косоногого да косолапого, как на войну ходят, – с причтом церковным, с музыкантами и канцелярией. Только денег вот на ходу не чеканили, но зато указы посылали с дороги. Открывал шествие караван верблюдов, навьюченный грузами: котлы и овес, шатры и порох, серебро для стола и прочее.

Хатунь – Серпухов – Скопин – Лимоново – Чернь видели царя в этом походе своими глазами. Дальше, дальше! В леса берложные, в бурелом чащобный, в гугук совиный, туда, где лешие бродят... Одичалый и грубый, коронованный мальчик нехорошо ругался, капризничал, привередничал. Пробились на подбородке царя первые волосы, разило от него сермяжным потом, лошаадьми, порохом да псиной. По вечерам – *пьян!* Так-то вот Петр охотился за зверьем, а Долгорукие охотились за царем...

Затянуло Россию дождями, и когда раскисли поля, завернули обратно – на Москву. Громадные обозы трофеев тянулись за царем на подводах: кабаньи туши, медвежьи окорока, жалобные лани, пушистые рыси, горою лежали убитые зайцы, которым даже счет потеряли. А на въезде в Москву, у заставы, придворные поздравляли царя с богатой добычей. Петр вздыбил жеребца под собой и, оборотясь в седле, нагайкой указал на карету, спешащую за ним:

– Дивную дичь затравил я: эвон везу двуногих собак!

А в карете той ехала мать Долгорукая с тремя дочерьми.

Так что молод-молод, но царь все понимал!

...

Печально оголились леса, разволокло унылые проселки...

По вечерам садились Долгорукие вокруг стола, рассыпали перед царем карты. Играли однажды в бириби – на поцелуй: кто выиграет, тот княжну поцелует. И конечно же, так сдали карту в марьяже, что его величество выиграл. Княжна Катерина уже и губы подставила – на, целуй! Но шлепнул царь карты и... ушел. Колыхнулись свечи в высоких шандалах. Зловещее почудилось тут Алексею Григорьевичу, и тогда позвал он в Горенки двоюродного брата своего, князя Василия Лукича: дипломат тертый, иезуитством славен.

Где, что, как – расспросил, сразу загорелся, и начал Лукич альянс любовный сколачивать крепко. Тому и природа способствовала: дожди все плыли, шумело в трубах, на двор не вый-дешь, зато уютно сидеть во мраке. В туманных зеркалах ослепительно вспыхивали драгоценные камни, а матовая белизна плеч женских казалась точеной – словно мрамор... До чего же хорошо грезится о любви под тонкое пение флейты Иогашки Эйхлера!

А княжна Екатерина Алексеевна, после казуса того с женишком цесарским, замкнулась. Повзрослела. Еще больше вверх вытянулась. На губах же ее – ухмылка, ко всему презренная. «Не привелось, – размышляла Катька, – графинею Миллезимо стать, так буду на Руси импе-

ратрицей. И тот красавчик подползет, как миленький... Хорошо бы ему туфлю к носу приставить: целуй, невежа!»

Василий Лукич научил племянницу свою – как девице вести себя в положениях заманчивых. Чего надо бояться, а чего не следует, коли попросят нескромно. Сначала Катька еще краснела, дядю слушая, а потом перестала...

И часто встречался Петр с княжною в местах притемненных, где даже свеч не было. Но смутен был в эти дни князь Иван.

– Гляди, сестрица, – сказал он как-то, – не обожгись. Негоже так: чужой грех с цесарцем царевым именем покрыть хочешь!

Екатерина заголила перед ним грудь и шею свою:

– Устала я от злодейств ваших! Не от тебя ли, братик, синё вот тут? Это за венца мово... А вот, гляди, от батюшки память! Это чтобы царицей я стала, всем вам на радость. А случись мне царицей быть, так я батюшку со света сживу... Тебя же, братец, в Низовой корпус сошлю – гнить тебе, Ванька, на Гиляни!

– Гадюка ты, – сказал Иван, но отступился...

В один из вечеров (уже похолодало) Алексей Григорьевич, прибаутничая, разливал вино. Петр чарку не взял – морщился.

– Не лежит душа моя к винному питию, – сказал.

– Ах, государь! – лебезил воспитатель. – Что бы вам уважить своо учителя? Чай, потчую-то ваше величество от сердца...

Князь Иван злодейство почуял, поднял лицо сумрачное:

– Папенька, стоит ли государя к вину приневоливать? Час уже поздний, его величеству опочивать бы...

Тут князя Ивана в сенцы позвали – вроде бы ненароком. А там братцы его (Николашка, Алешка да малолеток Санька) принялись дубасить его. Били да приговаривали:

– Не мешай счастью нашему! Плохо будет, коли заперечишь...

Палки побросали потом – и кто куда. Фаворит поднялся, о притолоку дверную паричок от пыли выбил. У зеркала постоял, синяки разглядывая, припудрился и снова в покои вернулся. А там отец его хныкал – все еще уговаривал царя:

– Знаю, ваше величество, не люб я вам стал. Паче того, обида моему дому, что у Юсуповых вы полбутылки выпили да похваливали. У дука де Лириа сами винца просить изволили...

Князь Иван, со зла на своих родичей, полную чашу вина выглотал. Император глянул на него и сказал:

– Коли ты пьешь, от тебя не отстану... Потешим боярина!

Пили и княжны. Прасковья Юрьевна охмелела – увели ее. А старик знай себе подливал царю да прибаутничал. Иван Алексеевич придвинул к отцу свою посудину.

– В остатний раз хлебну, – сказал, – и спать уйду...

Ушел. Разморились княжны – их тоже наверх отослали. Алексей Григорьевич и не заметил, как пропал царь из-за стола. Отыскал он его на дворе. Под дождем холодным, весь мокрый, стоял мальчик-император внаклонку. Его рвало. Долгорукый царя повлек за собой.

– Ничего, – говорил, – сейчас на постельку ляжете...

Петр провис на его руках, мотало его в разные стороны.

– Лошадей, – бормотал, – запрягай...

Старый князь втолкнул царя в сени, что вели прямо в опочивальню княжны. На цыпочках вернулся Алексей Григорьевич к себе, а жене сказал молитвенно:

– Благодарю бога, Прасковья... Быть дочери твоей пятой от корени царского – корени благословенного!

...

Утром в Горенках загремели шпоры Василия Лукича. Хватался дипломат за виски, нюхал мускусы разные, бегал на кухни пенники пробовать, чтобы воодушевленным быть. На пару с братцем оповещали они честной мир – направо и налево:

– Не доглядели! Эх, люди... Царь-то – молод, горяч, спрос короток. Порушил его величество княжну нашу! Лишил ее добродетели главной... Ой, горе нам, горе! Выпало бесчестье фамилии всей нашей... Куда ж вы смотрели, люди? Не уберегли касатку!

Князь Иван послушал, как глумливо шумят отец с дядей, велел лошадей запрягать:

– Мне более в Горенках не бывать. Вы с тем и оставайтесь!

Петр II, поутру проснувшись, застыдился:

– Алексеевна, ты ли это? Скажи – как выйти-то мне отсель?

Долгорукая лежала рядом с ним – длинная, поджарая, словно молодая кобылка. Повернула к царю лицо свое без единой кровинки:

– Как вошли, ваше величество, так и выйдете.

– Эва! Да ведь там народ ходит, мне людей стыдно... – Петр встал, глянул в окна. – Высоко... Чай, ноги поломать можно!

Но уже стерегли, видать: ждали, когда царь проснется. Ввалились в спальню, шумно и пьяно, князя Долгорукие – всей фамилией, будто свора. Шум, гвалт, рев, плач, кликушество. Алексей Григорьевич (без парика, глаза с мутью, вздох сивушный) кинулся к постелям – с кулаками полез на дочку:

– Что ты наделала? Задушу!.. Великий государь за мои-то заботы о нравах ваших, за труды мои великие... Эдак-то вы меня отблагодарили? Ы-ы-ы... Не снести мне позора сего!

Но кулак князя перехватил император (он был сильным).

– Не смей бить княжну, – сказал. – Ни она, ни я невинны перед богом... Ступайте все прочь! – велел, потупясь, голосом гневным. – Объявите княжну невестой моей... Быть по-вашему, по-долгоруковски!

Тут все кинулись руку ему целовать.

– Да отстаньте вы... Где Иван, друг мой сердешный?

Сказали, что рано на Москву отбыл.

– И мне запрягайте! Более здесь делать нечего...

Кое-как нахлобучил на голову парик, шагнул в сенцы. На княжну Екатерину даже не глянул – укатил за другом своим. Но слово сказано – не воробышек это слово, Долгорукие его поймали...

Василий Лукич кликнул братца, заперли они двери. Поставили перед собой вина доброго, положили двух зайцев сушеных. Долго крестились кузены на киот. Дружно сели.

– Ну, – сказал «маркиз» Лукич, – тепереча, Алешка, потолкуем. Кого мы сразу жрать станем, а кого на потом оставим?

– Теперь-то нас, – возрадовался отец невесты, – никакой Сенат уж не сшибет! Долгорукие в полную честь войдут да всех врагов изведут под корень... Начнем с Голицыных, пустозвоны оне! С утра все звонят, звонят, звонят. А на селе Архангельском, где мудрят всего более, мы с тобой псарни разведем.

## Глава пятая

Село Архангельское – вотчина подмосковная. Под деревьями – старая домина в три сруба, сенцами связана. Окна там – в переплетах свинцовых. А внутри дома – четыре стула поставлены. Вот и все... Хозяин усадьбы, князь Дмитрий Михайлович Голицын, давно немолод, телом сух, долгонос. Взор его с огоньком, голос тихий, но вдруг как рыкнет:

– Эй, баба! Беги к ручью да скорей умой дите свое – у меня глаз дурной, и ты, баба, меня всегда бойся...

Старины крепко держится. В доме без слова божия никто и зевнуть не смеет. Пока не сел князь Дмитрий – все домочадцы стоят. Муха пролетит – слышать. «Садитесь», – позволит, и все разом плюх на лавки. А из двух братьев верховника (оба они – Михайлы, старший и младший) на стул только старший брат Миша сядет, потому что он давно уже Российской империи фельдмаршал.

Князь Голицын был поклонником духа русского. Однако в доме его часто слышалась речь иноземная – от лакеев князя. Секретарь Емельян Семенов и комнатный слуга Петя Стринкин были людьми учеными, по-латыни читали и изъяснялись. Образование в людях высоко чтит князь Дмитрий Михайлович, а рассуждал он таково:

– Немцу на Руси делать нечего. Немцы у себя дома сами-то не способны порядок навести. И нам затей европейских не надобно. Почему не жить нам, как живали отцы и деды? Стыдно мне! По указу Петрову немец без разума вдвое более умного русского был жалован – чинами и денежно.

Когда же загибали перед ним пальцы: вот то хорошо от Петра, мол, вот это неплохо... – то князь Дмитрий снисходил.

– А я новому не противлюсь, – говорил тихо. – Коли хорошо оно, это новое-то! Надобно, судари, из русских условий, яко алмазы из недр, законы русские извлекать...

Боялись князя многие: как бы не сглазил. Всего *четыре* стула в доме его, а книг – *семь* тысяч. Куда столько? Но Василий Никитич Татищев, сам книгочей и любомудр, ради книг и приехал в Архангельское. Ныне он при Монетном дворе состоял, в науках знаток и нравом пылок... Дмитрий Михайлович секретаря позвал, перед Татищевым рундуки открыли, книгами хвастали.

– Еще когда на Киеве губернатором был, – говорил князь, – переводил с диалектов чужих. Сам-то я в языках иноземных мало смыслю, зато школяров киевских при себе содержал. Ели они в доме моем, пили и гадили. Терпел пакость эту, ибо школяры те знатно книгам переводы учиняли... Ну-ка, Емеля, покажи гостю!

Емельян Семенов – без парика, в кургузом распахнутом кафтанчике, с пером за ухом – любовно перебирал библиотеку:

– Вот и Макиавелли, и Пуффендорф... Это Гуго Гроция, Локк да Томазия несравненный – у нас все есть в Архангельском!

На каждой книге у князя был особый ярлычок приклеен, чтобы не украли такие вот гости, как этот Татищев: «Ex bibliotheca Archangelina». Василий Никитич – жадно и цепко – полистал синопсисы да хронографы. Голицын на сундуке сидел.

– Не токмо книгу читаю, – сказал он, – но и мыслю я! Оттого-то и не жду дня светлого. Вот кабы царям воли убавить! Хорошо было б, Василий Никитич... Одни временщики, сам ведаешь, чего стоят. Не помяни ко сну Малюту Скуратова да Басманова Данилу! А еще и пришлые: Монсы да Сапегы, Левенвольды да прочие... Раньше мы хоть пришлых не знали.

Татищев прищурился – хитер он был, зубаст:

– Что-то, князь, вы Генриха Фика не помянули?

Старик Голицын с силой задвинул сундук в угол:

– Генрих Фик – камералист<sup>1</sup> известный, конституций европейских толкователь. При дворе шведском в шпионах наших бывал и великую пользу принес России. Поболе бы нам Фиков таких иметь...

– Помянем еще братца вашего, князя Василья Голицына, что при царевне Софье успех немалый имел, – подольстил Татищев.

– Един он был, – отвечал верховник со вздохом. – Петр не знал его доброго сердца. Но я – чту! И когда-либо Русь еще помянет князя Василя добрым словом... Нет, не временщиком был подлым мой братец, а – головой Руси и мужем зрелым!

– Временщики, приветной хозяйюшка, – толковал Татищев, – токмо в республиках опасны, да! От аристократии же вред мне чудится, а монархия зато есть благо народное...

Емельян Семенов усмехнулся кривенько, на Голицына глянув.

– Народоправство! – вступил дерзко. – Вот корень времен грядущих, и в нем есть благо. Правление всенародное – избранное!

– То не так, – возражал ему Татищев. – Россия к демократии неспособна, благодаря простраственности и лесов обилию. От монархии же умиляюсь я ежечасно!

Голицын глядел из-под бровей глазами впалыми:

– Ну а ежели монарх – дурак? И народу своему – вреден? И ежечасно людей тиранствует?.. Ты тоже умиляешься, Никитич?

– А тогда следует верноподанным такого монарха за наказание божие почитать и терпеливо, не шумя, смерти его выждать.

Емельян Семенов захохотал, перо из-за уха выпало, а Голицын вдруг полез долой с сундука, застучал палкой:

– Опричина да приказ Преображенский... Канцелярия пытошная, Ромодановские да Ушаковы... Люди зверские в сане духовном – Питиримы да Феофаны! Куда их прикажешь девать, Никитич?

Татищев не заробел.

– Огонь пытошный не страшен, – сказал. – Ежели токмо поручена инквизиция государства человеку правил благочестивых. Да чтобы он в бога веровал. А злостные и неблагочестивые, в крови усладясь, сами утихают за старостью и болезнями...

– И так-то ты мыслишь? – спросил старый князь.

– Именно так, – отвечал Татищев.

Тут Голицын плюнул прямо в лицо Татищеву.

– Проглоти, пес! – сказал в бешенстве...

Более в село Архангельское Никитич уже не наведывался.

– Олигарх главный, – говорил впредь о Голицыне. – Но как бы не намудрил он чего... Все зло на Руси от аристократии следует. Опора престола есть шляхетство чиновное, служивое...

Дмитрий Михайлович вызвал своего сына Сергея из Мадрида, где тот состоял посланником российским.

– Сыне мой, – признавался старый верховник, – яко двуликий Янус, взираю я на Русь боярскую и Русь нынешнюю. Вижу выгоды немалые – в былом ее славном и в будущем, что станется не менее дивным! Но уже без немцев, без временщиков прихлебствующих. По мне, так всем куртизанам головы рубить надо... А царям пора уже воли поубавить!

Таков был князь Дмитрий Голицын: мехи-то старые, но вино в них молодое (бродило вино это).

...

---

<sup>1</sup> Камеральные науки – науки о государственных доходах. (Здесь и далее – прим. автора.)

Эх, немало кабаков на Руси, но краше нету московских!

А кто позабыл их, тому напомню: Агашка – На Веселухе – Живорыбный – У Залупы – Под Пушкой – Каток – Заверняйка – Девкины Бани – Живодерный – Тишина и прочие (всех не перечесать).

Нет страшнее кабака Неугасимого: укрылся он глубоко в земле, нет в нем окошек. Зато круглый год непрестанно, как в храме, горят в нем свечи, оттого-то и зовется он так – Неугасимый. Солдат-дезертир, баба-гуляка, лакей-утеклец, ярыга-пропойца, тать-ворон – все бывали в Неугасимом, всем было хорошо в полумраке. Даже нож не блеснет, когда сопитуху прикончат. Шито-крыто, в мешке продано, в темноте расплачивайся...

В пятом часу утра (когда петушок только пропел) собирался народ. Кто выпить, а кто просто так – поглядеть, как другие пьют. Вошел старичок, по виду – странничек. Таких-то немало по Руси шляется. Вынул гривну, и на ту деньгу дал ему целовальник ковшичек гнутый, который мерою для вина служил.

– Эвон, – зевнул с хрустом, – сам зачерпни...

У бочки с белым толпился народ. Иные, винца зачерпнув, на икону глядя, давали клятву всенародную – не пить более никогда, и пусть этот ковшичек, видит бог, станет последним. Иной же, кто денег не имеет, зипунишко смахнет с себя, кричит навеселе:

– Эй, душа целованна, гляди – вешаю тебе на память!

И для того был шест над бочкой: каждый пропитую лопоть на тот шест вешал. Соответственно и пил – во сколько целовальник «лопоть» его оценит. Старичок странник водочки себе зачерпнул, когда очередь подошла, и спокойно, с молитвами, отодвинулся.

– Господи! – сказал. – Образумь меня, грешного...

И надолго приник к ковшичку.

Тут его, как водится, обступили:

– Передохни, мила-ай. Лопнешь ведь...

– Оставь... О-о-о, глотнуть тока, с доньшка бы мне!

– Да не досасывай, или креста на тебе нету?

Но старичок был не из робких.

– Даром-то, – ответил, – угощают в бане угаром. Да и то, кажись, по дням субботним...

Потом еще копейку из порток вынул и требушинки попросил. Ел в аккурат – над кусочком хлебушка. В зубах он имел некоторый убыток. Но очень уж вкусно и приятно кушал старичок этот...

– Ты быдто царь кушаешь, – засмеялись люди гулящие.

Но из мрака кабацкого рыкнул кто-то, словно филин:

– Царя не трожь... Или «слова и дела» не слыхивал? Расшибут тебе кости, обедня вам с матерью!

– То вранье, – отвечали смело. – Нонешний государь добр, он Тайный приказ разогнал, а «слово и дело» уже не кричат. Говори, что замыслил, и Ромодановского с Ушаковым нам не бояться!

Старичок требуху доел, а корочкой миску всю выскреб дочиста.

– А ну, – хихикнул, – а ну ежели я крикну? Ась?

Целовальник, однако, ему пригрозил:

– Ты, убогонький, коли выпил лишку, так и ступай по святым местам. Неча «слово и дело» языком вихлять! Кончилось время лютное – и слава те хосподи, что миновало...

Кое-кто (у кого спина драная) закрестился. Подошел к старичку отставной солдат – столь высок и громаден, что голова его едва под потолком виднелась. Но белели из носа кости, а ноздри были клещами давно изъяты.

– Чтой-то голос на манир знакомый, – сказал солдат. – Дай-ка я погляжу на тебя, старичок... Может, когда и виделась?

Смотрел на ветерана старик – чисто и бестрепетно.

И вдруг заорал солдат:

– Постой... постой-ка! Да я ж тебя знаю! Робяты, воры да пьяницы, запахни двери поскорей – живым отсель он не выйдет...

Но старичок дал ему снизу по зубам мудреным вывертом, и солдат, как сноп, рухнул. Лежал – и пятки врозь.

– Ловок! – засмеялись вокруг. – Поклал славно!

Подскочил к старику капрал с пылающим чирьем на лбу:

– Ты пошто служивого человека вдарил? Он – кум мне...

Но старичок хихикнул, потом – хлоп, и капрал лег. Стало тихо в кабаке, как в храме божием. Да мерцали по углам свечи кабацкие – свечи неугасимые... Старичок рыгнул после еды, как и положено православному, увязал котомку. К двери пошел, но от самых дверей винопивцам да ворам сказал он так – веще:

– Слово миновало, но дело осталось... Вы, люди, ждите!

И поминай как звали. Солдат с вырванными ноздрями очнулся. Сидел на полу очумелый. Целовальник его в закуток отвел, угостил особо – из чарочки:

– Отведи обиду... Да уж больно любопытен я, теперича и спать не буду. Уж ты поведай мне – кто же был сей старичок?

Солдат выпил. И рассказал:

– Старичок сей есть генерал Ушаков. А по имени Андрей. А по батюшке Иваныч. И был главный живодер в Канцелярии тайной... Государево «слово и дело» сыскивал! Ни детей малых, ни баб не жалел. Кровь сосал, а жилами закусывал... Потому, – загрустил солдат, – мне из Москвы бежать надо аж до самого синего моря, ибо Ушаков сей зело памятен и меня завсегда здесь сыщет!

...

Первопрестольная шушукалась:

– Царь женится... Обвели его Долгорукие. Доколе же нам, шляхетству, терпеть их нороб боярский?

Ждали, что царь на Москву вернется – день рождения своего в Лефортове справить. Да принять поздравления, по обычаю. Но и тут вышло иначе: Петр II дал в этот день бал в Туле... А что Тула? Смешно сказать: на берегу речки Упы обурили кое-как домишко, чтобы тараканов изгнать, даже припасов для стола не нашлось. Мажордом вышел, жезлом в пол стукнул и гостям объявил:

– Почтенные господа! Конжурация такая: стола нетути, а есть буфеты, возле коих его величество и просит благородное тульское шляхетство откусать по собственному соизволению...

Туляки все глаза на невесту царскую пропялили:

– Да их три, никак? Какая же из них середняя?

Алексей Григорьевич, спесив и глуп, давал пояснения:

– В зачатии законном породил я сыновей четырех, а дочерей трех, из коих наблюдать вы, судари, всех сразу честь имеете! Средняя, меж Анной и Аленой, и есть та, коя богом самим в государыни ваши предназначена... Отчего и совету вам, господа, не мешкая, к ней приблизиться и к руке приложиться.

Петр был трезв и сумрачен, к невесте своей – ни шагу.

Но княжна Екатерина тоже к нему не ласкалась. Принесли ей ветку рябины с мороза, щипала тихо по яголке. «Горька любовь моя – горьки и яголки...»

Князь Иван Долгорукий шепнул ей:

– Не знал ранее, что такая гадюка у меня сестрица родная...

И еще раз буфеты обошел, всюду вина пробую. Император обнял его и на двор выволок. Кафтан распахнул, дышал глубоко – обидно:

– Вот и окрутили меня, Ваня, твои дядя с батькой.

– А я, ваше величество, к сватовству сему не прикаян. Воля ваша была – избрать подругу для утешений сладострастных...

– Мне без тебя, друг сердешный, – сказал царь, – жениться одному скушно. Коли ты меня, князь Иван, крепко любишь, так и ты женись тоже... В один день свадьбы сыграем!

– Чудно, – хмыкнул Долгорукий, хмелея на ветру.

– Женись, братец мой, – нежно уговаривал его царь. – Станем единым домком жить. Собак в комнатах разведем. Спать вместе будем. А жен наших куда-либо в деревни вышлем, пушай они там с простокваши пенки снимают...

– На ком жениться-то мне, ваше величество?

– Да на ком пожелаешь... тебе никто не откажет.

– Ваша воля, а мне и впрямь не откажут... Вот у Ягужинского графа, – задумался Иван, – девки хороши да чернявы. Видать, на любовь горячие. Только матка у них стерва известная...

Взволнованная слухами Москва и посольства иноземные никак не могли изловить пропавшего в лесах императора. Выехав из Тулы, Петр 27 октября был в Зарайске, 30-го его видели в Коломне, а проснулся уже в Гуслицах. Потом следы его затерялись... Царственный отрок кружил вокруг Москвы да около, но самой Москвы избегал, словно боялся ее. На пустынных дорогах, бездомным кочевником, под дождями, под снегом, на льду по слякоти блуждал внук Петра Великого – последний мужчина из дома Романовых!..

Тишком, словно воришка, лишь 9 ноября Петр воротился в Москву и прямо, никуда не заезжая, поехал в Немецкую слободу, в Лефортовский дворец. Там и остановился. Все ждали: что-то будет?

В один из дней к подъезду дворца подкатил заляпанный грязью возок, скособоченный, с драной кожей, стекла на окнах – в трещинах... Дверь открылась со скрипом, высунулась из возка нарядная шелковая туфля, долго выискивая – куда бы ступить где посуше, не в лужу. И резво выпорхнула из возка молодая крутобокая красавица – с круглыми, как у кошки, зелеными глазами, волосы – чистое золото, нос курносый, ямочки на щеках – и разом все потеплело на улицах... Краса людская всегда приятна!

Это была цесаревна Елизавета Петровна...

Долгорукие опасность почуяли: Елизавета – нрава легчайшего, Петр горяч, как бы не дали Катьке Долгорукой от ворот поворот. И вскорости Елизавету Петровну спровадили обратно – в слободу Александрову, где она жила и кормилась с вотчины. Гуртом подступили Долгорукие к молодому царю.

– Ваше величество, – дерзко заговорил Василий Лукич, – пора уже о невесте своей объявить всенародно.

– Быть по-вашему, – отвечал император, потупясь. – Велите же звать господ верховных министров, персон духовных из Синода, и генералитет пушай явится тоже...

Собрались. Мальчик-император потерябил, стыдясь, тяжелую кисть скатерти, глаза отвел и тихо объявил, что женится на княжне Екатерине Долгорукой. Особы первых трех классов стали тут изощрять себя, как бы радости больше выказать. Но довольных искренне не было, и промеж себя говорили совсем иное: «Долгорукие смело поступили, да – шатко. Царь еще молод, но скоро подымется и тогда разумеет то, чего сейчас невдомек ему... Как бы Долгорукие не поехали следом за Голиафом – Меншиковым – в Березов, где волков хорошо морозить!»

Барон Остерман вдруг захохотал и затворился, на болезнь жесточайшую ссылаясь. Болезнь вице-канцлера значила, что положение в Русском государстве чрезвычайно и грозит смутами.

## Глава шестая

На Большой Никитской, по стороне правой, возле церкви Малого Вознесения, недалеко от переулка Вражского (где когда-то колдун Брюс звездочетничал), имел свое усадебное жительство последний папа Собора Многогрешного и Всепьянейшего – князь Иван Ромодановской... Ныне он пребывал в абшиде – не у дел, говоря иначе.

Тайный приказ недавно закрыли, а Ромодановского отставили. Скушно теперь: что делать? Ей-ей, не придумаешь...

То ли раньше бывало – чуден век и славен: встанешь утречком, возблаговаришь Бахуса первой чаркою, а на дворе уже костерки разложены, чины приказные людишек коптят, словно рыбу в Астрахани... Забыли Ромодановского. Никто и не навестит папу.

Андрей Иванович Ушаков (бритьенкий, чистенький, в мундирчике полевом – незаметном) явился вдруг на Никитской.

– Мне бы до графов Иванов Федорычей, – сказал робко.

– До баньки ступайте, – показали ему. – Эвон, в саду дымит. Кой денек пошел, как его сиятельства изволят париться...

За домом раскинулся побитый сад. Мерзлые яблоки катались под ногами. Ни вишенье, ни берсень-крыжовник убраны по осени не были (так и пропало все). А банька – черная, колдовская, тараканья. Ушаков едва протиснулся в нее, поглядел в потемки:

– Иван Федорыч, да покажись... Где ты, голубь наш?

Кверху пузом томился на верхнем полке князь-кесарь. Тело желтое, как свечка.

– Поддай... слышь? – приказал сверху. – Пивцом лей!

Ушаков взял ведро с пивом, окатил раскаленные камни, и в пьяном облаке пара захлептался веником папа.

Андрей Иванович присел на лавку в предбаннике, сказал, подумав:

– Иван Федорыч, неужто не узнал ты – кто я есть таков?

– А – кто? – рыкнул сверху, аки зверь, Ромодановский.

– Ушаков ведь я, генерал бывый... Тайный фискал и от гвардии майор. Пострадал от козней Меншикова Алексашки, был сослан в полки полевые. Претерпел глад и хлад, обнищал и пришел на Москву в лаптях, Христовым именем побираясь... Ведаешь?

– Не ведаю, – ответил Ромодановский и, вниз спустясь, исподнее натянул. – Всю жизнь ты врешь, Андрюшка, – заговорил вдруг просветленно. – У гроба блаженные памяти царицы Екатерины Первоя возжелал ты нынешнего царя от престола отшибить. Ибо в головы отсечения отца его, царевича Алексея, ты участвовал. А посему тебе карьер ныне закрыт, и вот ты ползаешь да плачешься...

Ушаков не обиделся:

– А что ты, князь, из баньки-то, домашние сказывают, кой денек уже не вылезает? Сомлеешь ведь в жаре-то эдакой!

Ромодановский с трудом повернул кочан головы своей:

– Веред лечу... Вишь, как шею-то занял! Лаврушка Блументрост, архиятер государев, ножом хотел шею мне резать. Да я ему, живодеру, не дался... Душит он меня, веред-то, ой, как душит!

– Хошь – так выдавлю? – И Ушаков кулаки сдвинул, показывая, как следует дрянь из нарывов выпускать.

– Повременим, – отвечал Ромодановский. – Сначала давай с Ивашкой спознаемся (и вытянул из-под лавки «Ивашку» – громадный штоф). Тройная! – князь-папа щелкнул ногтем по бутылке стекла зеленого, узорчатого...

Старики были многоопытны. А всяк опытный человек знает, что перцовую (тройной выгонки) ничем не заешь, ничем не запьешь. Ты, милоч, коли уж рискнул тройную выпить – то запивай ее просто хлебной водкой. Тогда она пройдет как по маслу, и тебе хорошо станет. Во всяком случае, хоть не помрешь тогда!..

Сдвинулись кружки, Ромодановский от души пожелал Ушакову:

– Пьянство Бахусово, Андрей Иванович, да будет с тобою затемневающее, телом дрожащее и валяющее и безумствующее ты во вся дни жизни твоя... Виватаксиос!

Выпили тройную водку и запили просто водкой. Задвигались беззубые челюсти, жуя сметки псковские. И стало им тут хорошо. Так хорошо стало, что они разом нежно заплакали.

– Обидели тебя, Иван Федорыч, – говорил Ушаков, сморкаясь. – Потому и зашел... изнылся! Желая тебе решпект выразить. Россия-то погибнет ведь, коли народец не драть. Эки вольности завелись!

От перцовки Ромодановский медленно наливался дурной кровью. Двигал шеей, как бык, величаво. Лилово разбухал на затылке его страшный мясистый веред. Ушаков у него все дела сокровенные выпытывал: кто с кем живет, с кем водится, что замысливают?..

– А на што тебе собирать? – плевался Ромодановский. – «Слово и дело» миновалось. Да и ты – не инквизитор более. Вишь, Андрюшка, мундирчик-то какой дрянной на тебе!

– Да оно вить... сгодится, – отвечал Ушаков. – Коли государство имеется, то каково же ему без инквизиции быть?

Ромодановский рванул Ушакова за ворот.

– Опять врешь, – сказал. – Инквизиции на Руси не стало. Я от мук людских кормление имел. Но теперь без ужаса не могу страданий людских вспомнить. Страшно! Забудь и ты, забудь...

И они снова выпили. Князь-кесарь замолк.

– Или в сон клонит? – спросил Ушаков. – Не хошь ли в садик выйти? Может, яблочка тебе принести... Холодненького-то?

Молчал князь-кесарь. Глаза закатил. А изо рта у сердешного папы водочка вытекает. Ручейком бежит... Тройная! Перцовая! «Никак без покаяния? – испугался Ушаков. – Уходить надо от греха подальше...» Затворил черную баньку и – убрался прочь.

На Красной площади стучал барабан, толпился народец. Колотил солдат в тугие шкуры, потом палки застыли в воздухе, а с помоста читать по бумаге стали:

– «В дому Франца Фиршта имеет быть ввечеру комедийное действо «Об Иезекии, царе Израильском». Благородные платят по рубли, а кто желает удовольствие особо выказать – тот волен и более комедиантам подавать. А подлому народу сие – не к сведению!»

Снова застучал барабан – подлый народ ближе придвинулся.

– «А в дому господ Апраксиных, у жены иноземца де Тардия, можно видеть птицу-струсь, из земель Африканских привезенную. Сия птица-струсь бегаёт скоряе лошади, а в когтях особливую силу имеет. Она же птица-струсь, ко удовольствию почтенной публикус, железо, деньги и горящие угли охотно поедает. Благородные платят по изволению, с купечества брать будут по гривне. А что касасемо людей подлых, то смотреть им тую птицу-струсь опять же отказано...»

Ушаков послушал зазывал – неторопливо побрел далее. Затерло его среди армяков и тулупчиков, потерялся он на Москве шумной.

Но был где-то здесь – рядом... Ждите его, люди!

...

Как сыр в масле катался Иоганн Эйхлер (спасибо флейте: она его высоко подняла при персонах сильных). На долгоруковских хлебах здорово раздобрел Иогашка, залоснился щеками, стал бархаты да парчушивать... Теперь ему чина хотелось!

– Иогашка, где ты, рожа чухонская? – позвал князь Иван.

Эйхлер предстал, себя уважая.

– Зачем звали громко? – сказал обиженно. – Вот в Нарве у нас и дворянство, и купечество, и простолюдые даже на базаре так не кричит. Всюду тишина – как в ратуше...

– Нашел ты мне город, которым хвастать. А сейчас – дуй в погреб за щами!

– Дуй сам в погреб за щами! – заорал Эйхлер.

– Или забыл, кому счастьем своим обязан?

– Нет, не забыл, – отвечал Эйхлер. – Но за счастье сие отслужил столько, что давно чина коллежского достоин...

С руганью князь Иван сам сбегал в погреб, вернулся с бутылками кислых щей, открыл их – и полетели в потолок лохмы сочной капусты. Разлил он пенные щи по бокам (с похмелья хорошо).

– Пей, коли так, – сказал благодушно. – Да собирайся живее. Я невесту сыскивать еду. На запятках у меня побудь... не сломаешься, чай, барин!

Первый дом, куда заехал Иван Долгорукий, был домом бывшего генерал-прокурора, графа Павла Ивановича Ягужинского, о котором Петр I говаривал: «Вот око мое, коим буду я все грехи видеть!» Впрочем, «око» это слезилось нечисто: честолюбие мерзкое сneiderо прокурорскую душу. Ягужинский ненавидел людей родовитых, но сам же и завидовал боярству. «Вот бы и мне корень иметь, – размышлял. – Хоша бы от мурзы какого татарского... для куражу!»

И вдруг у него, сына жалкого органиста из костела, князь Долгорукий просит руки дочери. От такого родства совсем ошалел прокурор:

– Наташа, Пашка, Марья, Аннушка... сюда, окаянные!

И вдруг адъютант Ягужинского – Петька Сумароков рухнул в ноги генерал-прокурора:

– Не надо Аннушку! Люба она мне, ваша младшенькая. Смилуйтесь, Павел Иваныч, нешто же сами молоды не бывали?

– Убирайся! – И адъютанта граф ногой отпихнул...

Пулями влетали окаянные дочки, политесы чинили, куртизану плечи свои показывали. Были они чернавками, с искрой в глазах, густобровы, резвы как бестии... Ягужинский всех четырех загреб в объятия, придвинул к Ваньке.

– Бери люблю! – кричал. – Остальных с кашей есть будем!

Князь Иван поглядел на несчастного Сумарокова:

– Петь, а Петь! Каждая тварь земная – кузнец своему счастью. Уж ты прости меня, Петь: любя мне как раз Аннушка.

– Бог вам судья. – И вышел адъютант, шатаясь...

А тесть с зятем сели за стол, винцом балуясь, заговорили о том, о сем... Кончилась беседа ужасной дракой.

– Знаю, – орал Ягужинский, – давно ведаю, что вы, толщ боярская, не в чести меня держите. Худ я для вас! Худ, коли без порток юность пробегал, когда на золоте едали... Но я – человек самобытный, не чета прочим, и тебя, Ванька, я бить стану!

В драке сцепясь, выкатились на лестницу. Потом на крыльцо. Оттуда – на улицу. Сбежался народ – поглядеть, как бьются персоны знатные. Обер-камергер да генерал-прокурор!

– Почто смиренно стоим? – заволновался какой-то ярыга. – Не видите, что высокий Сенат бьют?.. Эй, гвардию сюда!

– Каку им гвардию, – отвечала толпа со смехом. – Дерутся-то они, видать, партикулярно. По нуждам собственным... Тута поношения высокому Сенату нетути! Пушай колотятся, оно же занятно!

За ярыгу вступились двое, подбили нищего. А за нищего уже десять влезло. Потом и все, кто стоял стороной, в одну кучу свалились, не разбирая – кто кого, и тут пошла такая веселая

работа, что – куда голова твоя, а куда шапка... Петька Сумароков не удержался: тоже в схватку вошел, кулаком работая.

– Ты Ваньку, Ваньку бей! – азартовал Ягужинский. – Коли ты Ваньку собьешь, я тебе Аньку-младшую с потрохами отдам...

А князь Иван в коляску свою заскочил, Иогашка Эйхлер ему паричок с земли поднял, помог отряхнуться.

– Посватались мы к чертям, теперь посватаемся к ангелам... Эй, везите меня прямо в дом Шереметевых – на Никольскую!..

Ангел Наташа сиротою жила. Знаменитый фельдмаршал граф Борис Шереметев породил ее на старости от вдовы Нарышкиной, а вскорости «скончал живот свой». В долгах и в славе! Затем и мать Наташина вином опилась, умерла в горячечной потрясухе. Дом богатой сироты ломился от женихов. Ревела по вечерам музыка. Пялились на Наташу мамки да свахи. Но девочка вдруг заявила братьям:

– Высокоумная! А чтобы не было на мне слова худого да поносного, заключаю себя в одиночестве. Веселье еще будет – поспешу-ка я скуки попробовать!

И затворилась: читала, алгеброй занималась, шила, сочиняла песни, рисовала и чертила из геометрий разных. Два года так! Не могли ее выманить, чтобы под венец увести...

Однажды постучались к ней в комнаты:

– Братец Петр Борисыч вас до себя просят...

Вздохнула тут Наташа, закрывая готовальню. Явилась.

– Графинюшка, – сказал ей братец Петя, – а вот князь Иван из славного дому Долгоруких честь оказал: твоей руки просит...

Наташа посмотрела на свои детские ручонки – в красках они, в туши да в заусеницах. И застыдилась:

– Ни к чему сие. Мне ли до утех любовных?

Брат круто повернулся на каблуках, чтобы уйти. А в ухо сестрице успел шепнуть: «Дура... соглашайся!» Молодые остались одни. Долгорукий стянул с головы громадный парик-аллонж:

– Гляньте на меня, Наталья Борисовна: ведь я... курчавый!

– Ой и правда, – засмеялась Наташа. – Да смешной-то какой вы, сударь, без парика быва-ете...

– Ангел Наташенька, – позвал ее князь Иван. – Посмотри же еще разок на меня... Неужто не нравлюсь тебе какой есть?

Посмотрела она. Стоял перед ней генерал-аншеф и полка гвардии Преображенской премьер-майор. Горели на нем ботфорты, блистала камнями шпага, сверкал на поясе золотой ключ обер-камергера. И все это – в двадцать лет... Куртизан царя!

– Наташа, – признался Иван, беря ее за руку, – свадьбу день в день с царской играть станем... Я неладно жил до тебя. Блудно и пьянственно. Ты и сама про то ведаешь. Однако не бойся: я тебя не обижу. Мы с тобой хорошо жить будем... Веришь ли?

Наташа ответила ему взглядом – чистым, как у ребенка:

– Отчего же не верить, коли ты говоришь? Хорошо – так хорошо, а плохо – так плохо... Истинно ведь так?

Вернулась затем к себе, раскрыла любимую готовальню:

– Боже, всем мил князь Иван... Только зачем при дворе состоит царском? Уехали бы в деревню, вот рай-то где!

...

А в древнем, как сама Русь, селе Измайлове все по-старому. Божницы и киоты, дураки и дуры, заутрени, шуты гороховые, клопы, тряпье, грязь, вонища (тут «гошпиталь уродов»). И рыгает сытая вороватая дворня, икают вечно голодные фрейлины...

С утра до ночи валяются на постелях две сестры – Прасковья да Екатерина Иоанновны, дочери царя Иоанна Алексеевича. Прасковья, та уже совсем из ума выжила: под себя ходить стала, левую ножку волочит, плетется по стеночке. Иногда вдруг за живот схватится, возрадуется:

– Ой, понесла, понесла... Вот рожу! Сейчас рожу!

Дура дурой, а в девичестве не засохла: еще при Петре, суровом дяденьке, привенчала к подолу себе вдовца-генерала Дмитриева-Мамонова, с ним и жила тишком. А сестрица ее, Екатерина Иоанновна, та все больше хохочет и наливками упивается. От мужа-то своего, герцога Мекленбургского, который лупил ее как сидорову козу, она с дочкой давно удрала – теперь на слободе Немецкой туплю в танцах треплет. «Дикая герцогиня» – так прозвали ее в Мекленбурге. От пьянства, от распутства герцогиня Екатерина распухла, разнесло ее вширь. Хохочет, пьет да еще вот дерется – как мужик, кулаками, вмах... А что с нее взять-то? Ведь она – дикая...

Феофан Прокопович – гость в Измайлове частый и почетный. Забьется в угол хором, горбоносый и мрачный, посматривает оттуда на разные комедийные действия... Вот и сегодня – тоже.

«О, свирепый огонь любви!» – сказала прекрасная Аловизия. «О, аз вижу земной рай!» – отвечал маркиз Альфонсо. «Я чаю ад в сердце моем». – «Хочу любить и терпели», – провыл маркиз (треснуло тут что-то – это фрейлина раскусила орешек). – «Хочу вздохнуть и молчать». – «Прости, прекрасная арцугиня», – отвечал маркиз (а рядом с Феофаном кто-то с хрустом поспешно доедал огурчик соленый). «Прошу, – сказал маркиз, – изволь выразуметь». – «Чего вы изволите?» – удивилась прекрасная Аловизия. – «А что вы говорить хотите?..»

Веселая комедия «Честный изменник, или Фридрих фон Поплей и Аловизия, супруга его» закончилась. Феофан Прокопович крикнул, потянул за шнур кисет с часами. Тянул-тянул-тянул, но часики не вытягивались. Так и есть: обрезали. От часов остался один лишь шнурок на память вечную – неизбытную... Ах, так вас всех растак! Стуча клюкою, косматый и лютый, встал непрременный член Синода перед Дикою герцогиней Мекленбургской:

– Голубка-царевна, уж ты не гневайся. Токмо опять общептали меня людишки твои. Кой раз смотрю у вас материи комедийные – и по вещам одни убытки терплю. Плохо ты дерешь свою челядь...

Ближе к вечеру вздохнули у ворот запаренные кони, девки припали ртами к замерзшим окнам – оттаивали дырки для глаза:

– Батюшки, красавчик-то какой... Охти, тошно мне!

Сбросив в сенях плащ, залепленный снегом, легко и молодо взбежал вверх граф Рейнгольд Левенвольде – посланник курляндский и камергер русский. Разлетелся нарядным петухом перед герцогиней, ногою заметал мусор, тыкалась сзади тонкая шпажонка.

– Миленькой... сладкой-то, – пищали по углам девки.

Пахло в закутах водкой и потом. Пьяные лакеи храпели под лавками. С полатей соскочила слепая вешунья – вдова матросская.

– Сказывай паролю мне! – крикнула. – Не то из ружья бабахну!

– Никитишна, – велела ей герцогиня, – а ну приударь-ка!

Старуха, вихляясь, пустилась в пляс. Крутились нечистые лохмотья ее, посол кланялся, а Дикая смеялась. Провела она гостя во фрейлинскую. Полунагие, вприжимку одна к другой, лежали фрейлины. С просыпу терли глаза. Одна из них (совсем еще ребенок) громко заплакала... Герцогиня залучила посла в свои покои, завела разговор с ним – семейный:

– А что сестрица моя на Митаве? Пишет ли вам?

Левенвольде передал на словах: не лучше ли, сказал посол, Anne Иоанновне самой приехать на свадьбу царя в Москву, чтобы подарки иметь, но разрешат ли ей выехать из Митавы господа верховные министры, которые очень строги и денег не дают больше...

Мекленбургская дикарка погрозила красавцу пальцем:

– А вы, граф, все шалите? Говорят, с Наташкой Лопухиной?

Пальчиком, осторожно, Левенвольде стукнул ее по груди.

– Пуф-пуф, – сказал он, играючись...

Выехал из села уже за полночь. При лунном свете достал даренный впопыхах камень. Присмотрелся к блеску граней:

– Дрянь! – и выбросил любовный дар за обочину...

...

Вот из этого села Измайлова, словно из яйца, давно протухшего, и вылупилась герцогиня Анна Иоанновна, что сидела, словно сыч, вдали от России – на Митаве... Странная судьба у вдовицы!

Брак Анны был «политичен» и выгоден Петру I. Герцог же Курляндский, прибыв в Петербург для свадьбы, словно ошалел от обилия спиртного. Так и заливался русскими водками! Но едва не погиб от трезвой воды: такая буря была, такой потоп от Невы, что избу с новобрачными понесло прочь от берега – едва спасти успели. Наконец, отгуляв, молодые тронулись на свое герцогство – на Митаву. Но отъехали от Петербурга только сорок верст: здесь, возле горы Дудергоф, молодой муженек Анны Иоанновны дух спиртной из себя навеки выпустил...

И повезла она покойника к его рыцарям, а там, в Митаве-то, ее и знать никто не желал. Шпынять стали. Хотела уж домой ехать. Но из Петербурга ее удержали: «Сиди на Митаве смиренно!»

Да так и засиделась, пока рыцари к ней не привыкли. Без малого двадцать лет! Вернее, не сидела она, а – лежала. Вечно полураздетая, на душных медвежьих шкурах часами Анна Иоанновна лежала на полу, предаваясь снам, мечтаниям и сладострастью.

## Глава седьмая

Глушь и дичь над Митавой («дыра из дыр стран не токмо Европейских, но и ориентальных»). Краснея битым кирпичом, присел в сугробах древний замок курляндских герцогов. Уродливые львы на гербовых воротах, да ветер с Балтики мнет и треплет над крышею оранжево-черный штандарт.

Тишина... мгла... запустенье... скука...

Забряцал вдали колоколец, и паж Брискорн выбежал на чугунное крыльцо. Холеные лошади подкатили к замку возок. Из полсти его высунулась костлявая рука в серебристой перчатке (сшитой из шкур змеиных). На ощупь рука отстегнула заполог. Брискорн подбежал резво и покрыл поцелуями эту змеиную руку.

Отто Эрнст, славный барон Хов фон дер Ховен, потомок палестинских крестоносцев, ландгофмейстер Курляндии, зашагал прямо к замку. Пунцовый плащ рыцаря стелился по снегу, а на плаще – герб господень среди трех горностаев. Стальные ребра испанского панциря круто выпирали из-под кафтана барона.

– Что делает герцогиня, мой милый мальчик?

– Она убирает волосы, – ответил паж, ласкаясь к рыцарю.

В прихожей замка, увешанной кабаньими головами, жарко стреляли дрова в громадных каминах. За карточным столиком два камер-юнкера герцогини – Кейзерлинг и Фитингоф – лениво понтировали в шнип-шнап. Вскочили, загораживая двери:

– В покои нельзя. Ея светлость убирает волосы...

Но ударом ноги, бряцавшей шпорою, барон уже распахнул половинки дверей, и хвост плаща, сырой от снега, медленно втянулся за ним во внутренние покои... Анна Иоанновна сидела перед зеркалом; багровое мужеподобное лицо герцогини было густо обсыпано рисовой мукой, которая заменяла ей (ради экономии) пудру; сейчас она прицепляла к вискам покупные рыжие букли. Фон дер Ховен заговорил с нею властно:

– Великая герцогиня! До каких же пор вы будете испытывать терпение благородного курляндского рыцарства? Зачем вы посылали своего камер-юнкера Бирена в Кенигсберг? Этот выползок из конюшен герцога Иакова снова подтвердил свое подлое низкое происхождение...

– Не пугайте меня, барон. Что опять с ним случилось?

– Бирен опозорил ваше светлое имя... В непутном доме, с непотребными женщинами он проиграл ваши деньги, был пойман на грязной игре в карты и теперь сидит в тюрьме Кенигсберга!

Черные, как жуки, глаза Анны Иоанновны быстро забежали; даже сквозь слой муки проступили резкие корявины глубокой оспы.

– Правда, – усмехнулся барон, – Бирен пытался не называть своего имени, дабы поберечь вашу честь, герцогиня...

– Но? – повернулась Анна Иоанновна резко.

– Но, увы, смотритель Кенигсбергского замка знавал Бирена еще по университету, когда тот предавался ночным грабегам и воровству. И вот теперь Бирена каждый день лупцуют палками. За старые грехи и за новые! Но бьют его, ваша светлость, не как студента, а как... вашего камер-юнкера. Прусский король – скряга известный, за грош удавится, и он не выпустит Бирена, пока не получит сполна штрафы за все грехи Бирена...

Анна Иоанновна тупо смотрела в зеркала перед собой:

– Вы всегда были так добры ко мне, барон...

– Нет! – возразил фон дер Ховен. – На этот раз я не дам ни единого талера. Выручайте, герцогиня, своего куртизана сами. А не выручите – курляндское дворянство будет только радо избавиться от человека, который пренебрегает вашим высоким доверием.

Нога ландгофмейстера быстро согнулась в жестком скрипучем ботфорте, он рыцарски приложил к губам край платья герцогини и направился к дверям, волоча за собой шлейф плаща.

– И никогда! – сказал с порога. – Никогда, пока я жив, ваш камер-юнкер Бирен не будет причислен к нашему рыцарству...

В вестибюле замка, погрев зад у камина, фон дер Ховен обратился к Фитингофу и Кейзерлингу:

– Я говорил при герцогине нарочно громко, чтобы вы, молодые дворяне, слышали мою речь и сделали вывод, достойный вашего древнего благородного происхождения...

Паж Брискорн уже откинул заполог у возка.

– Мое милое дитя, – сказал ландгофмейстер и с отцовской нежностью потрепал мальчика по румяной щеке; лошади тронули...

...

В замке снова наступила тишина. Фитингоф с треском перебрал в пальцах колоду испанских карт, шлепнул ее на стол.

– Мы с тобою, Герман, всегда играли честно.

– Всегда, дружище, – ответил Кейзерлинг.

– Но между нами, оказывается, сидел опытный шулер... Мы только камер-юнкеры, но Бирен этот лезет в камергеры!

– Для этого Бирен имеет оснований более нашего...

Фитингоф потянулся за шляпой:

– Я не стану более служить светлейшей Анне, которая не желает иметь честных слуг...

А ты, Герман?

– Не сердись: я остаюсь здесь... на Митаве!

– Прощай и ты, – вздохнул Фитингоф. – Я поеду служить курфюрсту бранденбургскому или королеве шведской... На худой конец, меня примет Август Сильный в Дрездене или в Варшаве. Мы, курляндцы, не последние люди в Европе, ибо умеем отлично служить любым повелителям мира сего... Прощай, прощай!

Тем временем Анна Иоанновна стерла с лица муку рисовую, вырвала из прически букли и, заголив рукава, словно перед дракой, толкнула низенькие боковые двери. Потайной коридорчик вывел ее в соседние покои, где селилось семейство Бирена. В детской комнате, возле колыбели, Анна Иоанновна расстегнула лиф тесного платья и дала грудь младенцу. Кормила маленького Бирена – Карлушу, как выкормила перед тем еще двух. А чтобы злоречивых наветов не было, женила Бирена на уродке, неспособной к материнству. Теперь герцогиня детей рожала, а Биренша под платьем подушки носила, притворяясь беременной...

Покормив младенца, герцогиня проследовала далее. Бенигна Готлиба, жена Бирена, урожденная Тротта фон Трейден, сидела на двух подушках. Маленькое, хилое, безобразное существо. Два горба у нее – спереди и сзади. И лицо – в красных угрях, глазки слепые, белесые. Таковую-то жену и надо Бирену, чтобы не польстился он жить с нею любовно... Бенигна стихла, завидев герцогиню.

– Ну, – сказала ей Анна Иоанновна, – ты уже все знаешь. Да не жмись заранее: бить на сей раз не стану... Где у вас штатулка моя бережется?

Герцогиня выбрала из шкатулки драгоценности. И свои девичьи – дома Романовых, и мужнины – короны Кетлеров, и биренские – рода Тротта фон Трейден. Замухрышка-горбунья не пошевелилась. Тогда Анна Иоанновна прицелилась глазом и вынула из ушей ее серьги. Бенигна сама сняла с себя кольца, чем растрогала сердце Курляндской герцогини.

– Даст бог, – сказала Анна, – верну тебе все сторицей. А сейчас не бывать же твоим детям сиротами!

После герцогини явился к Биренше веселый Кейзерлинг. Дружески потрепал горбуню по костлявому плечу:

– Не плачь, Бенигна: когда одного мужчину любят две женщины сразу, такой мужчина не пропадет... даже в замке Кенигсберга!

– А как безжалостен! – всхлипнула горбуня. – Уже не студент, ему под сорок. Но стоит отъехать от замка, и он сразу вспоминает грехи своей юности. Пожалел бы детей, если презирает меня...

– Ну, милая Бенигна, – засмеялся Кейзерлинг, – о детях ты не должна беспокоиться... О! Что я вижу? В ушах остались только дырочки? Прости, Бенигна, я тебя тоже ограблю!

И нагло отстегнул от пояса жены Бирена ключ.

– Зачем тебе? – спохватилась женщина. – Отдай мне ключ!

Кейзерлинг с издевочкой шаркнул перед ней туфлей:

– Ваши конюшни в Кальмцее маленькие, но славятся своими лошадьми. Я до вечера возьму у вас жеребца. Так нужно! Поверь: я тоже хочу помочь тебе и... твоим детям!

...

На лесистой окраине Митавского кирхшпиля Вирцау, заслоненная от нескромных взоров навалами камней, приткнулась к озеру мыза фон Левенвольде. Две старенькие пушки с ядрами в пастях извечно глядят на дорогу – с угрозой. Скрипит на въезде в усадьбу виселица: крутятся на ней под ветром, вывернув черные пятки, висельники – рабы господ Левенвольде. А под виселицей – плаха, на которой отсекали левую ногу беглецам, и плаха черна от крови.

Сейчас на мызе, в окружении книг и собак, рабов и фарфора, отшельником проживал Карл Густав Левенвольде – лицо в курляндских хрониках известное. Недолго он пробыл фаворитом овдовевшей Анны Иоанновны и с умом (он все делал с умом) уступил Бирену любовное ложе. Зато убил двух бекасов сразу: сохранив приязнь герцогини, он приобрел и дружбу Бирена.

Брат же его, граф Рейнгольд Левенвольде, в короткое царствование Екатерины I пригрелся в ее постели, зато в графы и камергеры шутя выскочил. На Москве так и остался – посланником от герцогов курляндских... И теперь, на глухой мызе прозябая, Густав Левенвольде знал все, что происходит в России, – через брата Рейнгольда...

Был поздний час, вороны на снегу едва виднелись, когда усталый Кейзерлинг подъехал к мызе. Бросив поводья конюхам, прошел в дом, изнутри беленный, чистый, жарко натопленный. Густав Левенвольде угостил его вином, развалил ножом жирный медвежий окорок:

– Ешь, Герман, и пей, но только не молчи...

– Удивляюсь я Рейнгольду, – заговорил Кейзерлинг, уплетая окорок. – Как он не боится жить в Москве, где его ненавидят?

Левенвольде подлил гостю вина.

– Мой брат Рейнгольд под защитой барона Остермана, и пока Остерман на службе России, нам, немцам, бояться нечего...

Кейзерлинг неожиданно захохотал:

– Мы совсем забыли о женщинах! Скажи, милый Левенвольде, сколько сокровищ русских боярынь прячется в подвале твоего замка? Сколько русских княгинь разорил твой брат на Руси?

Левенвольде отвечал на это – черство, без улыбки:

– Мой брат очень красив... это верно. И он не виноват, что знатные дамы спешат одарить его за любовь. Тебя же, Кейзерлинг, я больше не держу. Возьми окорок на дорогу и – ступай!

Юноша понял, что задел большое место в славной истории рода рыцарей Левенвольде, и выплеснул вино в камин:

– Я больше не пью, а ты не сердись, Густав... Дело, по которому я приехал, отлагательства не терпит.

– Деньги? – сразу спросил Левенвольде, попадая в цель.

– Ты ловко выстрелил! – ответил Кейзерлинг.

– Опять герцогине?

– И да. И нет. Мимо ее рук – в Кенигсберг... Знаешь, что случилось с Биреном? А я хочу выручить этого шалопаю и мота.

Левенвольде затих: было видно – думает. Прикидывает.

– Ну а зачем тебе нужен... Бирен? – спросил.

– Прости меня, Густав, – начал Кейзерлинг, – но... ведь ты был счастлив с герцогиней. Был? Не был?

Левенвольде мечтательно посмотрел в окно. Там чернели леса, там выли волки. Из буреломов несло жутью. Пять веков назад сюда, в этот лес, пришел с мечом и крестом из Люнебурга первый рыцарь из рода Левенвольде. Сколько вина! Сколько крови! Сколько костров, стонов, стрел, и вот... Кажется, род Левенвольде достиг вершины славы: один брат вкусил от русской императрицы, другой брат познал герцогиню Курляндскую... Что может быть выше?

– Не я один... – отозвался Густав. – Сначала у Анны был князь Василий Лукич Долгорукий, потом Бестужев-Рюмин, а за ним уже и я... Но, не умея ценить счастья, я тут же передал его другому... Так зачем же, ответь, ты хочешь выручить Бирена?

Кейзерлинг отложил тяжелую, как меч, старинную вилку, источенную в ветхозаветных пирах тевтонских рыцарей.

– Я патриот маленькой страны, что зовется Курляндией, – сказал он тихо. – Наша же герцогиня русская, а Россия – рядом, дорогой Левенвольде. Она большая и сильная, мы всегда зависим от нее. Кордоны слабы, а что будет дальше – не знаю. Посуди сам, откуда придет свет и благополучие?

– Вряд ли от России, – ответил ему Левенвольде.

– Ты сказал мне это, не подумав... Нам следует быть готовыми к любым конъюнктурам войны и мира, и даже негодяй Бирен может пригодиться... Ты подумай, Левенвольде; ты думаешь?

Левенвольде с улыбкой поднялся из-за стола.

– Я не глупей тебя... Сколько нужно? – спросил деловито.

...

Митавский ростовщик Лейба Либман – по просьбе самой герцогини – тоже был вынужден раскошелиться, и через неделю, таясь воров полуночным, Эрнст Иоганн Бирен вернулся из тюрьмы на Митаву. Стройный, рослый и гибкий, он легко шагал в темноте, раздвигая кустарники... Глаза его видели во мраке отлично, словно глаза кошки. Там, где Аа-река огибает предместье, далеко за кирхой и каплицей польской, он постучался в низенький дом. Лейба сам открыл ему двери и закланялся камер-юнкеру герцогини.

– Вот и вы, – поздравил его Лейба. – Господин Бирен всегда счастливчик! Вот уж кому везет...

– Слушай ты... низкий фактор, – ответил ему Бирен. – Если судьба меня вознесет, то – верь! – никогда не забуду услуг твоих.

Бирен вдруг нагнулся и пылко прижал к своим губам костяшки пальцев митавского ростовщика.

– Высокородный господин, – смутился Либман. – Стоит ли вам целовать руку низкого фактора, если дома вас ждут красивые жена и дети? Я верю в ваше высокое будущее...

И снова умолкло все на Митаве: тишина, мгла, запустенье, скука... Именно в этом году митавский астролог Фридрих Бухер нагадал Анне по звездам, что скоро быть ей русской императрицей.

– Да будет врать-то тебе, – смеялась Анна. – Мне от России и ста рублей не допроситься... Опять ты пьян, Бухер!

Это правда: Бухер был пьян (как всегда).

## Глава восьмая

*Дитя осьмнадцатого века,  
Его страстей он жертвой был,  
И презирал он Человека,  
Но Человечество любил...*

### *Князь П. Вяземский*

Никакому курфюршеству не сравниться с Казанской губернией.

Разлеглась она у порога Сибири, в жутких лесах, в заповедных тропах бортников, редко-редко блеснут издалека путнику огни заброшенных деревень. Кажется, вся Европа уместится в этих несуразных просторах...

С востока – горы Рифейские и течет мутная Уфа, скачут по изумрудным холмам башкиры; с юга – степи калмыцкие, и бежит там Яик казацкий, река вольная, звонкоструйная; глянешь к северу – видать Хлынов-городок на реке Вятке, а далее уже шумят леса Вологодские; обернись на запад – плывет в золотую Гилянью величаясь разбойная Волга. Но это еще не все: перемахнув через губернию Астраханскую, Казань наложила свою лапу и на Пензу – выхватила самый лакомый кусок у соседки и, обще с Пензой, притянула его к своим гигантским владениям.

Всем этим краем управлял один человек – Артемий Петрович Волынский, и вот о нем поведем речь свою.

...

День над Казанью так начинался: хлопнула пушка с озер Поганых – адмиралтейская, будто в Питере; зазвонили к заутрене колокола обителей. Потом забрались на башню Сумбеки татарские муэдзины – завыли разом, тошно и согласно.

И тогда Артемий Петрович Волынский проснулся...

– Бредем розно, – ни к чему сказал. – И всяк по себе разбой ведем... Помогай-то нам бог!

Одевался наскоро – без лакеев. Бегал по комнатам, еще темным, припадал на ногу, хро-мая. Год назад, когда въезжал в Казань, воевода чебоксарский палил изрядно. И столь угодни-чал, что пушку в куски разнесло, канонир без башки остался, людишек побило, губернатора в ногу ранило, а воеводу даже не нашли: исчез человек... Ехал тогда по чину: одной дворни более ста человек, свои конюшни и псарни. Дом на Казани расширил, велел ворота раздвинуть. «Сам-то я пройду в калитку, – говорил Волынский. – Да чин у меня высок – пригибаться не станет!»

То прошлое – теперь забот полон рот. Москва да господа верховники далече: сам себе хозяин, своя рука владыка, пищит люд казанский под тяжелой дланью... Смелой поступью вошел в опочивальню калмык во французском кафтане, по прозванию Василий Кубанец; Волынский его у персов откупил и для нужд своих еще из Астрахани с собою вывез. Кубанец протянул пакет губернатору:

– Ночью гонец из Москвы был с оказией верной... Вам дяденька Семен Андреевич Салтыков писать изволят.

– Положь, – сказал Волынский. – Ныне честь некогда...

Покряхтел, поохал. Дома нелады: детишек учить некому, жена в хвори. И лекарей изрядных нет на Казани: помирай сам как знаешь.

Прошел Артемий Петрович в канцелярию, велел свечи затеплить, а печей более не топить (был он полнокровен, сам по себе жарок), и секретарю губернскому велел:

– Воеводы – што? Пишут ли?.. Читай экстрактно, покороче, потому как зван я на двор митрополита, а дел немало скопилось...

От дел губернских к полудню взмок. Парик скинул, кафтан снял. У кого просьба – того в глаз. У кого жалоба – тому в ухо. Так и стелил челобитчиков на пол. Купцу первой гильдии Крупенникову полбороды выдрал. Тряслись руки подьячих. Сошка мелкая срывалась в голосе – «петуха» давала. «Запорррю!..» – несло над Казанью. Просители, у коих и было дело, все по домам разбежались. Заперлись и закаялись. Только причт церкви Главы Усекновения высидел. В молитвах и в смирении, но приема дождался.

– Впустить кутейников! – распорядился Волынский.

Долгополые бились в пол перед губернатором.

– Ну, страстотерпцы, – рывкнул он на них, – врите... Да врите, опять же, экстрактно – лишь по сути дела...

«Страстотерпцы» рассказали всю правду, как есть. Церквушка Главы Усекновения стоит ныне по соседству с молельней татарской. И пока они там о Христе плачут, татаре шайтанку своего кличут. Но того не стерпел вчера ангел тихий и самолично заявился...

– Кто-кто явился к вам? – спросил Волынский.

– Ангел тихий...

– Так, – ничуть не удивился губернатор. – Явился к вам этот ангел. Как же! Ну и что он нашептал вашей шайке?

– И протрубил, чтобы, значит, не быть шайтану в соседстве. О чем мы и приносим тебе, губернатор, слезницу.

Волынский прошение от них взял, но кулаком пригрозил:

– Вот уж, погодите, я еще спрошу этого тихого ангела – был он вчера у вас или вы спьяна мне врете?

Шубу оплеч накинул – не в рукава. Вышел губернатор, хватил морозца до нутра самого. И велел везти себя:

– На Кабаны – в застенки пытошный!

...

Приехал на Кабаны... Подьячий Тишенинов изложил суть: женка матросская, Евпраксея Полякова, из слободы Адмиралтейской, по часту в дым обращалась и сорокой была...

Волынский локтем спихнул мусор со стола, сел.

– Дыбу-то наладь, – велел мастеру голосом ровным.

Палач дело знал: поплясал на бревне, ремни стянул.

– Сразу бабу волочь? – спросил он хмуро...

Артемий Петрович взглядом подозвал к себе Тишенинова:

– Человеке, сыне дворянской... Имею я фискальный сыск на тебя: будто ты сорокою был и в дым не раз обращался.

Тишенинов стал как мел и в ноги Волынскому – бух:

– Милостивец наш, да я... Всяк на Казани ведает: не был я сорокою, в дым не обращался я!

Волынский палачу рукою махнул:

– Вдымай его!

Ноги – в ремень, руки – в хомут. Завизжало колесо, вздымая подьячего на дыбу. Шаталась за ним стена, вся в сгустках крови людской, с волосами прилипшими...

– Поклеп на меня! – кричал Тишенинов. – Ковы злодейские!

Палач прыгнул ногами на бревно: хрустнули кости.

Двадцать плетей: бац, бац, бац... *Выдержал!*

Артемий Петрович листанул инструкцию – «Обряд, каково виновный пытается». Нашел, что надо: «Наложа на голову веревку и просунув кляп, и вертят так, что оной изумленный бывает...»

Прочел вслух и палачу приказал:

– Употреби сей пункт, пока в изумление не придет...

Опять выдержал! Только от «изумления» того орал истошно.

Волынский был нетерпелив – вскочил, ногою притопнул.

– Огня! – сказал. – С огнем-то скорее...

Воем и смрадом наполнился застенок казанский. Жгли банные веники. На огне ленивом Тишенинов показал, что сорокой он был и в дым часто обращался...

– А с женою, – подсказал ему Волынский, – случаюсь блудно по средам и пятницам...

– Случаюсь, – подтвердил с дыбы Тишенинов.

– И собакой по ночам лаю...

– Лаю, – упала на грудь голова...

Волынский табачку нюхнул, кружева на кафтане расправил.

– Вот и конец колдовству! Велите жену матросскую Евпраксею домой отпустить. Лекаря ей дать для ранозалечения из жалованья твоего, секретарь. Ты бабу чужую угробил на пытках, вот и лечи теперь ее... А тебя с дыбы можно снять.

Сняли. Тишенинов лежал на земле – выл.

Рубаха на нем еще горела...

– Прощай, секретарь! В другой раз умней будешь, – сказал Волынский. – С пытки-то и любой в колдовстве признается...

Заскочив домой ненароком, чтобы жену спроведать, Артемий Петрович позвал калмыка-дворецкого:

– Мне, Базиль, татаре сей день на ноготь сели. Или раздавлю их молельню, или оставлю. Знать, подношение тайное будет. Прими.

– Нам што! – ощерил зубы Кубанец. – Мы примем что хошь...

Волынский на него глянул, будто ране никогда не видывал:

– Зверь, говорят про меня. А вот ты, Базиль, калмыцкая твоя харя, скажи – тронул я тебя хоть пальцем?

– Нет, господине, меня не били, – заулыбался дворецкий.

– Ну, так жди: скоро быть тебе драну...

Потом письмо из Москвы от Салтыкова<sup>2</sup> читать стал:

«И не знаю, для чего вы, государь мой, себя в людях озлобили? Сказывают, до вас доступ очень тяжел и мало кого допускать до себя изволите. Друзей оттого вам почти нет, и никто с добродетелью об имени вашем помянуть не хочет. И как слышим на Москве, что обхождение ваше в Казани с таким сердцем: на кого осердишься – того бить при себе, а также и сам, из своих ручек, людей бьешь... Уж скажи ты мне по чести: не можешь ли посмирней жить?»

...

Через ворота Тайницкие, из Кремля казанского, возок губернатора вынырнул. Сшибли лошади самовары с горячим сбитнем, насмерть потоптали бабу с гречневыми блинами на масле.

---

<sup>2</sup> С.А. Салтыков (1672–1742) – родич Анны Иоанновны, мать которой была из рода Салтыковых; женат на Ф.И. Волынской, тетке адресата; отсюда и приязнь Салтыкова к А.П. Волынскому.

– Пади-и-и-и... ади-и-и-и! – разливались фореиторы.

А на подворье – тишь да благодать. Попахивает вкусными смолками. Монахи сытеньки. Девки матросские им полы даром моют (для бога, мол). Половики раскатывают.

– Зажрались, бестолочи! – И разом не стало ни баб, ни монахов: это Волынский ступил на крыльцо архиерейское...

Митрополит свияжский и казанский, Сильвестр Холмский, мужчина редкой дородности. Нравом же крут и обидчив. Бывал бит, а теперь сам людей бьет. «И буду бить!» – грозитя...

Губернатора благословил, однако, с ласкою.

– Господине мой! Причту церкви Главы Усекновения опять знамение свыше было. Чтобы убрать моленную поганую от храма святого!

Волынский похромал по комнатам, руками развел.

– Дела господни, – отвечал, – не постичь одним разумом. Едва клир ваш от меня убрался, как мне тоже видение свыше было. Сама богородица на стене кабинета моего явилась, плачуца...

– Дивно, дивно, – призадумался Сильвестр.

– Убивалась она, что причт-то ваш пьянствует. В наказание, мол, и моленная татарская поставлена с храмом рядом.

Сильвестр руки на животе сложил, намек раскусил.

– Ну ладно, коли так... Нам, убогим, с богородицей-то и совладать бы, а вот с губернатором спорить трудно!

Обедали постненько. Но винцом грешили. Сильвестр обиды не таил противу синодальных особ – так чистосердечно и высказался:

– Феофан Прокопович ныне высоко залетел. От него поруганий много идет. Феофану волю дай – стоять нам в крови по колено... Ох и лют!

– Лют, да умен, – отозвался Волынский.

– А был бы умен, так за умом к Остерману не бегал бы!

Волынский отмахнулся – с неба на землю сошел:

– Ныне вот Долгорукие повыскакивали. И патриаршеству, коли быть ему снова, в патриархи князя Якова Долгорукого прочат.

Сильвестр вкусно обсосал стерляжью косточку:

– Слышал я, какой-то нонеча латинянский писатель на Москве объявился... Жюббе-Лакур, кажись, эдак кличется. Вот от сего писателя дух папешский и прядает. По ночам, скаывают, куда-то ездит, советы тайные с верховными да духовными особами имеет...

В разговоре митрополит вдруг по лбу себя хлопнул:

– Артемий Петрович, чуть было не забыл... Ты уж стихарь-то верни в монастырь!

– Какой, ваше преосвященство? – удивился Волынский.

– Да тот... уборчатый... Для супруги брал. Чтобы узоры для шитья трав дивных за образец взять.

– Так я же вернул его вам!

– Вернул, сие правда. А потом дворецкого Кубанца присылал. И тот опять взял. Дабы рисунок поправить. А стихарь-то, сам знаешь, много богат. Одного жемчугу с пуд на нем!

– Нет, – построжал Волынский, вставая, – не брал мой дворецкий стихаря у вас. Вы сами пропили его всей братией, а теперь на меня клепаете...

Сильвестр побледнел. Стихарь-то еще от Иоанна Грозного, ему цены нет, по великим службам им требы духовные пользовали.

– Едем! – гаркнул митрополит. – Едем к тебе, и пусть калмык твой, рожа его маслена, скажет: брал он стихарь или не брал?

...

Кубанец посмотрел на митрополита, потом на губернатора:

– Нет, не брал. И не видывал... На што он мне?

– Ты крещен или в погани живешь? – спросил Сильвестр.

Дворецкий вытянул из-под кафтана французского крест:

– Господине мой крестили меня – еще в Астрахани...

– Так бога-то побойся, – умолял митрополит. – Не бери греха на душу... Где стихарь, такой-сякой-немазанный?

– Розог! – распорядился Волынский, вечно скорый на руку.

Но и под розгами орал калмык, что не брал второй раз стихаря. И не видывал его! Кровь забрызгала лавку, отупело глядел Сильвестр на исполосованную спину раба, потом встал:

– Пропал стихарь... Отныне, губернатор, ты враг мне первый!

Волынский к ночи навестил драного дворецкого. Сунул под голову Кубанца кисет с деньгами:

– Вот и ты дран, Базиль... Да ништо! Тепер я в тебя верю. Крепок раб мой, буду и я к рабу моему крепок...

Жемчуга да камни драгоценные от стихаря отпорол, пришел к жене и обсыпал ими всю постель жены, умирающей без врачей и лекарств. Приник к ней, плача, весь трясясь:

– Не оставь меня, Санюшка, с детками малыми...

...

Артемий Волынский давно принадлежит истории – как патриот, как гражданин. Но образ этого человека слишком сложен и противоречив. «Дитя осьмнадцатого века», он жил законами своего времени – трудного и жестокого. Дурное в нем отлично уживалось с добром. Он был достаточно образован, чтобы не верить в колдовские чары, но, спасая бабу от пытки, Волынский пыткой же доказывал палачу, что колдовства не существует. Волынскому ничего не стоило украсть из церкви стихарь, чтобы утешить слабеющие взоры умирающей жены... Пытошный огонь, никогда не страшивший его, позже и очистит нам образ Волынского, и он предстанет пред нами в истинном своем свете – как патриот, как гражданин!

Именно Волынский и станет нашим главным героем...

## Глава девятая

Из дома отчего переехала невеста царская во дворец Головинский – к престолу поближе. Своих подружек во фрейлины приблизила. И повсюду – гербы орляные (хищноголовые, коронованные). Сорочки исподние, кои из дома вывезла, и те отдала Катька белошвейам-монашенкам с таким наказом:

– Всупоньте в кружева орлов царских. Отныне я ничего простого нашивать не стану...

Закинула подбородок еще выше. Целая копница темных волос сверкала, убранная камнями и перлами гурмыжского жемчуга. Похорошела княжна изрядно – стать-то какова! Даже батька ее, князь Алексей Григорьевич, и тот робел перед нею.

С ножом к горлу лезла Катька на брата Ивана:

– Где бриллианты царевны Натальи? Доколе мне ходить только в одних фамильных? Дашь или не дашь?

– Не дам, – отвечал Иван. – И без них ты хороша, ведьма...

В день великомученицы Екатерины царская невеста получила титул: «Ея высочество». Катили к подъезду Головинского дворца кареты: сановные старцы, дипломаты, сенаторы, генералы – всяк спешил поздравить ее. И гремели перед Катькой пышные роброны, склонялись перед нею плечи статс-дам, сверкали эполеты, сыпалась с париков розовая пудра, взлетали шляпы иностранных послов.

А над улицей возводили триумфальную арку, под которой будущая царица должна в день обручения под венец проехать.

Свадебная та арка. Для куражу она!

Народ называл ее «трухмальной»...

...

Еще с вечера сорок карликов, попискивая, раскатали тяжелину ковра персидского. Во всю ширь палаты Лефортовского дворца раскрылись цветы восточные – цветы нездешние. Был ставлен стол, закинули его парчою. А поверх водрузили ковчег чистого золота; в ковчеге – крест. По бокам от него – тарелки «уборные»: в каждой по кольцу обручальному, а в кольцах тех – диаманты чистые.

– Эй, косой! – позвал Иван Долгорукий.

Старик преображенец князь Юсупов, вояка матерый, рубленый, подбежал к фавориту и подставил ему тугое ухо:

– Говори, князь Иванушко, чего-сь надобно?

– Дело таково, татарин... Батальон гвардии Преображенской тишком вводи во дворец Лефортовский. Да в палате обручальной ставь в ряд. Остальные пусть в покоях вахтируют.

Торжественный кортеж уже отъезжал от дворца Головинского. Посреди золотой кареты, в шестерню цугом впряженной, сидела прибранная невеста. Тучу волос стянули ей в четыре косы, к темени прикрепили корону. Маленькую – с яблоко. Платье на Катьке серебряное, с фалбалами, чешуей отсверкивает. Будто рыбка, поплывет сейчас княжна навстречь счастью своему (или несчастью?)...

Иван отодвинул дверцу кареты, шевельнул губами:

– Готова ль ты, сестрица моя?

– Вели ехать, брат. Но в остатный раз пытаю тебя по родству: дашь ты мне бриллианты царевны Натальи?

– Отстань, язва персицка! – отвечал князь Иван...

На крышу кареты с невестой водрузили – честь честью – большую корону, крикнули на козлы:

– Езжай с опаской и бережением... Не скovyрни корону!

Тронулись... Первыми – камергеры, за ними князь Иван – отдельно (как обер-камергер). Бежали скороходы в ливреях, трясли в колокольчики. Скакали почтальоны и трубили в рога. Ехал сердитый шталмейстер Кошелев и мрачно махал жезлом...

Вот опала снежная пыль на дороге, и ахнула толпа:

– Гляди-ка – еще следом прутся!

– А кто же это таки будут?

– Долгорукие, бабка, едут... кланяйся!

– Охти, спина моя. Согнись аль не согнись?

С лицом без кровинки, губу закусив, величаво проплыла в стеклах кареты невеста. Катилась за ней маменька с сестрицами. Плясали вокруг жеребцы гайдуков, пестрели одежды пажей. Ехали и дамы-кавалерши в лентах: Чернышева, Ягужинская, Черкасская да Остерманша (Марфутченоч). Бежал следом за ними народ. Московский народ – любопытный. Иные через всю Москву лапти трепали – и недаром, как выяснилось. Под конец шествия случилось такое, что было потом о чем вспомнить.

Высокая карета с невестой на въезде в ворота дворца Лефортова зацепилась верхом своим за перекладину. И грохнулась корона наземь. Покатилась, громокая, будто ведро пустое.

– Стой!.. Ах, ах... Осади назад... езжай далее!

Растерялись провожатые. Катька звон услышала, выглянула из кареты. А там, разбитая в куски, лежала под копытами лошадей ее царская корона... Еще не ношенная!

– Не бывать свадьбе! – кричал народ московский. – Примета больно худа... Слезай, невеста, приехала! Грешна, видать, ты...

Дернули лошади – осколки звякнули. Тоненько, словно плача.

«Не танцевать мне в Вене, не веселиться...»

– Тпрррру-у...

И заиграла музыка – начались любовные канты.

...

Славный боевой фельдмаршал, Василий Владимирович (тоже из Долгоруких), прибыл к свадьбе с самого Низу – из корпуса Низового<sup>3</sup>, над коим держал команду в землях, у Персии отвоеванных.

Желтое бельмо заливало глаз ветерана.

Удивленно озирает старик мундиры в карауле.

– Робяты, – спросил у солдат, – вы ж какого полка?

– Твоего, князь.

– Но я вас, мать вашу так, сюды разве ставил?..

Алексей Долгорукий оттянул ветерана в уголок.

– Василь Владимырьч, – зашептал на ухо, – коли сам ты есть Долгорукий, так на што рыпаешься? Это мы преображенцев сюды расставили. Шипят на Москве, противу фамилии нашей козни строят. Как бы чего не вышло! А на штык гвардии, чаю, не полезут...

Под музыку любовных кантов невеста уже вышла из кареты.

---

<sup>3</sup> Низ, Низовой корпус, Низовая служба – в областях, отвоеванных Петром I у Персии на Каспийском море, находились русские войска, которые спускались к месту службы вниз по Волге (отсюда происходит и название).

Вахта ей салют учинила, но без боя барабанного (дабы старух придворных не испугать). Внизу дворца Катьку встретила и приголубила бывшая царица Евдокия Лопухина, а ныне старица-монахиня.

– Касатинька... невестушка, – шептала старая добрая Евдокия, а по иконному лику ее – кап-кап – слезы, мутные; может, вспомнула старая сны молодые в кельях да казематы шлисельбургские?

Только три кресла, зеленым бархатом крытые, стояли в обручальной палате: для царя, для невесты и для бабки-царицы Евдокии, чтобы старость ее уважить. Принцессы крови (сестры Иоанновны и цесаревна Елизавета) да еще Долгорукие – те сидели на простых стульях. А более никто сиживать права не имел...

Невеста поглядывала на всех с презрением явным.

Петра (во всем светлом, серебром шитом) вывели господа верховники. Пасмурно посматривал император вокруг себя. К невесте подошел, в кресло опустился. С минуту сидели жених и невеста, друг на друга глядя. Глаза в глаза, зрачки в зрачки.

Затихло все. Только дипломаты: шу-шу-шу-шу...

– Я готов! – вскочил император, и на запястье Екатерины надел тяжелый браслет со своим портретом. Тогда шесть генералов (из коих два иностранца) взяли за штанги и растянули над аналоем покров балдахина, как шатер. Заплескались алые шелка, в палатах повеселело. И запели голоса – высоко-высоко...

Воздев руки, Феофан Прокопович встал под балдахином. Евангелие протянул для поцелуя царю сначала, потом Долгорукой. После чего жених невесте поклонился, а невеста жениху. В бороде Феофана затаилась усмешка – коварная. «Коротко царствование сие, но второй раз обручаю царя... Что-то бог даст и этой?..»

Краткую речь произнес фельдмаршал Долгорукий (бельмастый).

– Твоя фамилия, – сказал невесте, – слава всевышнему, богата и занимает посты высокие. А ежели тебя, по прихлебству известному, станут просить о милостях кому-либо, ты хлопочи не в пользу имени, но лишь в воздаяние заслуг подлинных...

Эта прямая речь мало кому понравилась. А окна уже тряслись от грохота пушек. Старцы стали прихорашиваться, как петушки. Петр держал руку Екатерины в своей, давая ее для поцелуя каждому, кто подходил по порядку очереди. Все шло чинно и благопристойно... Глаза у невесты были опущены – даже не глядела, кто там прикладывается. И вдруг побледнела, а руку свою из руки царя вырвала – заметила Миллезимо. Нет, любила она его, любила, любила... И руку свою сама венцу красивому протянула.

– Прощайте, граф, – произнесла в боли сердечной...

В боковых апартаментах дворца толпились дипломаты, и они видели, как граф Вратислав вышибал на улицу Миллезимо.

– Болея апоплексически, – оправдался посол, – не углядел я, как он проник в палату обручальную... Еще один такой амур, и меня отвезут в Вену, но уже залитым воском... В Вену его!

Впрочем, дипломатов занимало сейчас совсем другое. Обручение русского царя с Долгорукой спутало многие карты в европейской игре: одним выгодно, другим – ужасно... Посол Пруссии, барон Вестфален, скупой и вечно голодный, тут же вспомнил инструкцию из Берлина: помалкивать и более других слушать.

– Моему королю этот брак кажется весьма странным, – сказал он вскользь, скривив рот, и больше он уже ничего не скажет.

Зато посол Дании в пику Голштинии (что Дании была враждебна) высказал большую радость от имени своего короля:

– И эта радость будет всемерно расти с каждым наследником, рожденным от Долгорукой, чтобы никогда иностранец не имел притязаний на престол Российской империи!

Это полетела палка в голштинский огород, где уже созревал, словно огурец, один наследник, и в посольских рядах заволновались.

– А вот это уже свинство! – выразился посланник Бонде. – Наша прекрасная Голштиния имеет права на престол русский. Сын Анны Петровны, принц Петр Ульрих<sup>4</sup>, растет не по дням, а по часам. Господа! Смею вас заверить: слезая с горшка, он уже сам застегивает на себе гюльфик. И мы, голштинцы, не жалеем масла и розог, чтобы он вырос сильным и мудрым...

Барон Габихсталь представлял Мекленбург, иначе – Дикую герцогиню с дочерью и ее мужа, сумасшедшего палача – герцога Мекленбургского.

– Но, – сказал Габихсталь, – герцогиня Екатерина Иоанновна привезла в Россию свою дочь Христину...<sup>5</sup> И, если ее сочетать браком со здоровым немцем, она родит кучу наследников для России... Господа, я удивлен вашим невежеством: как можно забыть про великий Мекленбург?

Посланник Курляндии, граф Рейнгольд Левенвольде, понял, что молчать далее ему никак нельзя. И он сказал – обиженно:

– Напрасно здешний двор не поддержал наших мудрых предложений. Герцог Фердинанд Курляндский<sup>6</sup> хотя и сварливого характера, но мужчина еще в соку и к супружеству способен. Он уже предлагал свою руку и сердце цесаревне Елизавете Петровне, и напрасно цесаревна отказала ему. Этим браком породнились бы две ветви Романовых – Ивановны и Петровны!

Над париками вдруг раздался чей-то жесткий смешок. Дипломаты обернулись, дабы взглядом уничтожить дерзкого. А это смеялся аббат Жюббе, невозмутимо перебиравший четки.

– Синьоры! – сказал он. – Почему я не слышу здесь голоса еще одного посланника? А именно – цыганского, ибо, мне думается, цыгане тоже не откажутся от прав на престол России...

Рядом с аббатом замерла пышнотелая красавица с низко вырезанным лифом платья. И была она столь обворожительна в греховной красоте своей, что дипломаты разом притихли. Это была духовная дочь аббата Жюббе – княгиня Ирина Долгорукая, урожденная княжна Голицына. Аббат Жюббе, тайный посол от Сорбонны, тоже имел строгую инструкцию: «Следовать во всем откровению, которое угодно богу будет ниспослать вам в Московии для соединения этой великой церкви с латинской...» А княгиня Ирина, думалось аббату, сомкнет рознь двух великих фамилий – Голицыных и Долгоруких...

Целование руки закончилось, но еще долго стреляли пушки.

...

Здесь пушки не стреляли, но пел хор рязанских ямщиков, а Иогашка Эйхлер усердно дул во флейту. Был день сочельник, роскошные палаты Шереметевых на Воздвиженке ломились от гостей, «свадебные комиссары» покрикивали:

– Господа, не стой посередке. Лучше к стенкам жмись, а то как бы полы не рухнули...

Темнело уже, полыхали со двора смоляные бочки. Били на улице два фонтана – винный и водочный. От жареного быка шел пар.

Наташа стояла – рука в руку – с князем Иваном, а перед нею складывали дары свадебные: родовые кубки с гербами, фляши золотые, часы разные с музыкой немецкой, квасники и поставцы, бочата порцелена саксонского, зеркала венецианские и канарские, серьги,

---

<sup>4</sup> Впоследствии император Петр III (1728–1762), женатый на Екатерине II.

<sup>5</sup> Впоследствии Анна Леопольдовна (1718–1746), правительница Российской империи, умерла в заточении в Холмогорах.

<sup>6</sup> **Фердинанд** (ум. в 1737 г., герцог Курляндский) – приходился родным дядей герцогу Фридриху (ум. в 1711 г.), который был женат на русской царевне Анне Иоанновне. Герцог Фердинанд находился во вражде с курляндским дворянством и постоянно проживал вдали от Митавы – в Данциге, управляя Курляндией лишь номинально.

перстни, табакерки... Брат Петя Шереметев – словно откупился от сестры: подошел, шесть пудов серебра в слитках сложил к ногам Наташи и, ничего не сказав, откланялся. И вдруг глаза невесты загорелись – обрадовалась она.

– А вот и готовальню голландскую дарят, – шепнула Ивану...

Впустили дворню с кормилицей. Мужики в чистых онучах, бабы в лапотках, рты платами закрыв, в ноги кланялись. И поднесли тоже невесте: пирог с рябиною, vareжки домовязанные да пеленки детские, искусно шитые.

По отцу-фельдмаршалу, что мужиков не обижал, чтит народ и дочь его Наталью Борисовну. Долгорукий смотрел на свою невесту сбоку: «Совсем дите малое...» – думал.

А ночь застала жениха в доме Трубецких, где шумствовали. У князя Ивана давно грех был с Анастасией Гавриловной, дочерью канцлера. И, опьянев, стал он водить ее от гостей в комнаты дальние для блуда. А муженек – Трубецкой, хотя и зять канцлера, но фавориту царя не смел перечить: пусть водит, от жены не убудет. Только единожды, когда Ванька стал на гостях уже «рвать» Настасью, он робко и тишайше вступился:

– Князь Иванушко, у вас теперича и своя утеха есть. Почто княгинюшку мою безжалостно треплете?

За такие дерзкие слова Долгорукий стал Трубецкого в окно выбрасывать. Несчастный супруг гузном стекла выдавил, взывал к Алексею Григорьевичу:

– Уйми сына своего... не дай в сраме погибнуть!

– Мой сын, – отвечал отец, – молодечество свое показывает. Покажи и ты свое молодечество!

Легко сказать – покажи, когда уже над улицей виснешь.

– Гости мои дорогие, будьте хоть вы заступниками хозяину!

Тут сбоку Иогашка Эйхлер подвернулся, князя спас, а Ивана домой отвез. Наташа плакала утром, корила:

– И дня не миновало... Где же твои слова, князь Иван, что все хорошо будет? Не рушь чужих семей – и своя не порушится!

Долгорукий виноват был – встал перед ней на колени:

– Наташенька, ангел мой, скажи: чего ты желаешь?

– Уедем в деревню с тобой. Близ царей – близ смерти...

Вскоре вся фамилия Долгоруких собралась на семейный совет.

– Дела неустойчивы, – затужил князь Василий Лукич. – Народ-то простой вроде бы и рад, что царь не на немецкой принцессе женится. Да вот шляхетство-то служивое ропщет.

Мутно слезилось бельмо в глазу фельдмаршала.

– Нет, не напрасно роптает Москва! – заговорил князь Василий Владимирович. – Двенадцать тыщ холопных дворов получил ты, князь Алексей, от царя... А за што? Может, трактат выгодный заключил? Или в войнах ироикой упражнялся? Или доходы государства нашего бедного ты преумножил? Какую пользу принес ты?

Брат фельдмаршала – Михаил Долгорукий (губернатор Сибири), что прибыл из Тобольска свадьбу играть, кулаком по столу рубанул в гнев:

– И княжество Козельское, что в Силезии от Меншикова бесхозным осталось, – на кой ляд оно тебе? Даже в Горенках своих порядка не умыслишь, а уже в Силезию залезаешь? Худые, князь Ляксея, слухи идут: будто ты, по примеру покойного Меншикова, еще и титула князя Римской империи домогаешься? Так или не так?

Дядька царя от нападков Владимировичей заикаться стал:

– А че-че-чем я Меншикова хуже? Он породил невесту для царя, и я породил. А что мне руку люди целуют – так вам, братики, просто завидно стало. Оттого и грызете меня!

Василий Лукич руку поднял, споры прекращая.

– Торопиться свадьбою надо, – сказал веско. – Кольцо еще не кандалы, а жених – не каторжник... Как бы не сбежал царь от Катьки нашей! Недаром по ночам к тетке своей, Елисавет Петровны, в слободу Александрову ездит. А что он там делает? Еще привалится к ней, к тетке-то... Не дай бог! Девка она сладкая, недаром солдатами вся облипла, словно пряник мухами...

– В монастырь ее, – загалдели кругом. – В монастырь Лизку!..

Свадьба царя была назначена на 19 января следующего, 1730 года. Москва шумными пирами праздновала свадьбу загодя. Отовсюду, из самых глухих деревень, утопая в сугробах провинций, ползли по дорогам России возки, колымаги и сани.

Не только знать – мелкотравчатые тоже копились на Москве табором, и здесь их сразу шибали сплетнею:

– Долгорукие-то, Нефед Кузьмич, совсем Русь под себя подмяли... Как бы нам, шляхетству, насилия какого от них не стало! Фамилия-то ихняя, сам знаешь, весьма велика...

– Того не допустим. Нас, маленьких да сереньких, больше!

...

Герцог де Лириа, кутаясь в жидкий мех, отогревал за пазухой собачонку-трясучку, писал скоро, без помарок, решительно:

«...батальон гвардии еще находится наготове вблизи дворца и держит караул в комнатах, в которых живет фаворит. Изо всего этого высокий ум моего короля поймет не только то, что в этом браке руководит единственно честолюбие (царь-мальчик отдается в руки Долгоруких без понимания сущности дела и с безразличием), но и то, что князя Долгорукие боятся народа, привычного к заговорам и возмущениям...»

Собачка выставила мордочку, нюхнула ароматное жабо хозяина.

– Сю-сю, моя прелесть, – сказал ей герцог де Лириа. – Какой негодник этот король, что заслал нас в эту ужасную страну!

И стал писать далее – о цесаревне Елизавете Петровне:

«...красота ее физическая – это *чудо*, грация ее неописанная, но поведение с каждым днем все хуже и хуже. Принцесса Елизавета без стыда совершает вещи, которые заставляют краснеть даже наименее скромных».

## Глава десятая

Александрова слобода – место страшное, народом проклятое. Лютовал здесь царь Иван Грозный, жег людей на огне, нагишом гонял их по снегам, и плясали здесь опричники – в вое и смерди. Отсюда Грозный пошел кровь пролить в Новгороде, здесь принимал послов иноземных, здесь женил сына на Сабуровой, здесь он посохом убил сына, здесь и сам подыхал в страшных муках...

Но все забылось с тех пор, как цесаревна Елизавета получила слободу в вотчину. Перед окнами дома ее – площадь, где базар, а там ветлы шумят и качели взлетают. Соберет она баб да девок, обнимет Марфу Чегаиху, подругу деревенскую, и поют – до слез. На святках ряженные придут – угощение бывает: пряники-жмычки, стручки цареградские, орехи каленые, избоина маковая. А коли выпьет царевна, то подол подберет да пойдет вприсядку...

Был при Елизавете и придворный штат, как положено. Даже свой поэт был – Егорка Столетов, музыкант и любовных романсов слагатель. Сядет он вечером за клавишины и поет:

Ох, рана смертная в сердца стрелила,  
Ох, злая Купида насквозь мя пробила...

– Да замолкнешь ли ты, скверна худа? – кричит Елизавета. – Алешенька, друг милый, дай ты ему по шее... Чего он воет?

Алешенька – новый друг цесаревны. С тех пор как Сашку Бутурлина в Низовые полки выслали, пошла любовь горячая от сержанта Алексея Шубина, помещика села Курганиха, что в шести верстах от слободы Александровой...

– Тоска-то какая, господи! – жаловалась Елизавета по вечерам. – И куда ни гляну, одни рожи каторжные вижу...

В самом деле – и Егорка Столетов и Ванька Балакирев были драны еще при батюшке крепко, в Рогервике сиживали, из моря камни доставали и в бастионы их складывали. Елизавета обоих (и шута и поэта) не шибко жаловала.

– Изюмцу хочу, – капризничала. – Изюмцу бы мне!

– А где взять-то? – вопрошал Шубин. – Я не побегу... Эвон сколь бездельников по лавкам лежат. Пусть Егорка и стегает!

– Я, – обиделся Столетов, – весь в думах пиитических пребываю. Мне то неспособно. Пусть Балакирев лупит, ноги-то бойкие!

Иван Емельянович Балакирев, услышав, что его посылают, пихнул с лавки Лестока – хирурга цесаревны:

– Отъелся, как свинья на барде. Сбегай, или не слышал?... Тебе, французу, не впервой на собак наших сено косить!

Жано Лесток продел ноги в валенки. Побежал – принес изюму, вина, пряников. Снова раскидал валенки, один туда, другой сюда.

Цесаревна взяла изюминку, а Шубин рот открыл.

– Чай, сладкая попалась, друг мой Алешенька?

Балакирев, распахнув мундир полка Семеновского, гоголем прошелся через светелку:

– Чай да кофий – не к нутру: пьем винцо мы поутру.

– Коли делать нечего, – подхватил Шубин, – допиваем к вечеру... Разливай! Пьем да людей бьем.

Балакирев кулак поднес к носу Егорки Столетова.

– А кому это не мило, – сказал, – того мы – в рыло!

– Сядь, Емельяныч, – велела Елизавета. – От тебя у меня голова трескается и в глазах рябить стало...

– Я сяду, царевна-душенька. Ныне я, опосля каторги, тихий стал. Ныне мной – хоть полы грязные мой: сам выжмусь!

Забулькало вино. При сиянии свечей медью вспыхивали рыжие волосы цесаревны. Приплюснутый нос ее дрожал от смеха. Сидела среди мужчин в штанах солдатских, ногами болтая. Хмелела.

– У княжны Катерины, – рассказывала, – на животе вот такое пятно. И на месте видном. То не к добру ей... приметно!

– А у вас? – спросил Лесток. – Где у вас пятно?

Елизавета в лоб хирургу медовым пряником – тресь.

– Знаешь – так молчи! Не про тебя растут мои пятнышки...

Прямо с мороза, в санях продрогшие, ввалились еще двое гуляк. Алексей Жолобов – президент штатс-конторы и Петька Сумароков, что ходил в адъютантах у графа Ягужинского.

– То-то нос чешется, – засморкался в тепле Жолобов. – Они, и правда, винцом балуются... Здравствуйте же, наша красавица-матушка, наша цесаревна-голубушка, Елисавет Петровны!

Балакирев тянул Жолобова за стол:

– Ты с нами попей – увидишь скоро зеленых чертей!

– Маврутка, – кликнула Елизавета, – тащи посуду пошире...

Мавра Шепелева, подруга цесаревны (тоже в штанах солдатских), расставила кубки, ударила по рукам президента Жолобова:

– Не лапайся, хрыч старый, каторжник окаянный!

– Да ты меня с Балакиревым-то не путай, – обиделся Жолобов. – Меня пронесло пока мимо каторги. Не бывал пока в катах.

– Да что с того, что не бывал? По морде видать – будешь...

– Тихо! – гаркнул француз Лесток. – Не забывайте, что здесь находится ея высочество – наша государыня-цесаревна...

Елизавета фыркнула, округлив глаза зеленые:

– Я думала, Жано, ты дело скажешь. Гаркнул так, что в ушах звенит... Ну-ка, Петрович, – повернулась она к Жолобову, – распотешь компанию. Поведай, каково ты живал в краях курляндских?

Жолобов куснул пряник (зубы желтые, каждый – в ноготь):

– Эх, матушка! Ну кажинный день бывал пьян с поведением...

– Это как... с поведением?

– А так: водили меня два кавалера под руки, сам уже не ходил. А он-то – боялся. В митавской остерии хотел стул от меня брать, так я обернулся скоро и... Так в стенку его вклеил, что он даже мякнул!

– Про кого говоришь-то? – спросил Сумароков.

– Чуть что, бывало, – продолжал Жолобов, – я его бить! Ботфорты ношены дал. «Чини!» – говорю. Уж не знаю, сам ли чинил или на сторону давал, только вернул, гляжу – чинены!

– Да о ком ты это?! – заорал Шубин.

– Да все о нем... о Бирене, что с Анной живет чиновно.

– А-а-а, – догадался Шубин, зевнув протяжно.

Елизавета ему изюминку туда – раз!

– А эта небось слаще, Алешенька!

– Тьфу! – сплюнул Шубин. – Разливай. Вино не берет меня.

– Дурной башке и хмель не брат, – заметил Столетов.

Шубин, не долго думая, треснул поэта в ухо.

– Верно, Ляксей, – подзадорил его Балакирев. – Чтобы чужие тебя боялись, надо поначалу своих отлупцевать...

И, развернувшись, сшиб с лавки хирурга. Лесток залетел под стол – кусил цесаревнина фаворита за ногу. Шубин от боли подскочил – стол опрокинул. Попадали тут и потухли свечи. В темноте визжала цесаревна Елизавета:

– Ой, мамоньки мои! Да кто ж это щекотит так меня?..

Кое-как угомонились. На дворе звонко запел петух.

– Не в пору запел, – заметил строгий Сумароков. – Видать, будут от государя указы новые...

Двери захлопали, и – на помине легок – вошел император.

Оглядел пьяную компанию, сказал:

– Тетушка, изгони всех. Скучаю вот. Тебя видеть приехал...

...

– Надобно нам, – рассуждали верховники, – уже не о новых викториях мыслить, а удержать хотя бы то, что от прежних викторий осталось. Россия сильна мужиком и хлебом! А налоги безжалостны столь изнурили Русь, что платить мужик более не способен. Передых ему надобен! Мужик и солдат, как душа и тело наши, – едины: не будь крепкого мужика на Руси, кто же тогда Россию оборонит от врагов наших?..

И недоимки мужикам министры в царствование Петра II скостили, а офицеров, кои палками налог выколачивали, из деревень убрали.

Вроде и полегчало. Русь передохнула. Замычали на пажитях коровенки, пошли стрелять в пику овсы, зацветала гречиха. Мужик торговал с мужиком, деревня с деревней, город с городом, губерния с губернией. Жить на Руси стало вольготнее... Князь Дмитрий Голицын дела мужицкие (дела хлопотные и нудные) к своим рукам в Совете прибрал, а помогал ему в этом Анисим Маслов, секретарь. Бывало, с разбегу спотыкалось перо в руке князя Голицына, впадал он в неистовство над бумагой казенной:

– Гофгерихтер, плени-потенциал, обер-вальдмейстер, фельдцейхмейстер... К чему, – вопрошал старый князь, – ломаем и портим язык природный? Устоял он противу татар, так неужто ныне от немчуры погибнет? Скажи мужику нашему: старший лесник или начальник дела пушечного – и он поймет! А на таких словах и мне трудно языка не сломать. Оберегать надобно, яко от язвы поганой, язык российский ото всех словес чужеземных, кои простонародью нашему противны и невнятны...

Но это не значило, что у Голицына не было друзей-иностранцев. Генрих Фик, камералист известный, частенько гостил в селе Архангельском. Пронырлив и вездесущ, на русской каше вскормлен, на русских сивухах вспоен. Ныне – Коммерц-коллегии вице-президент, а президентом в ней – барон Остерман. От князя Голицына, после речей высоких о правленьи коллегиальном, едет Фик к дому Стрешневых. От самого крыльца дух не перевести от жары, все щели в доме забиты – хоть парься с веником. А барон – в халате ватном, ноги под пледом, глаза за козырьком зеленым. И никак Генриху Фику до глаз президента Коммерц-коллегии не добраться, чтобы заглянуть в них – какие они?..

– Барон, – спросил Фик, важничая, – не пора ли попросить Блументроста, чтобы глаза он вам вылечил?

– Теперь болят ноги, – простонал Остерман. – Я страдаю...

Фик взялся за коляску и вежливо покатал барона по комнатам:

– Подагрические изъяны лечит Бидлоо, а вы никогда не лечитесь... Вы и встать не можете, барон? Ах, бедняжка! Скажите, по совести: если я подожгу ваш дом, сумеете вы из него выскочить?

Остерман резко застопорил коляску:

– Зачем вы пришли ко мне, Фик?

– Василий Татищев, что ныне состоит при Дворе монетном, сочинил проект – о заведении на Руси школы похвальных ремесел...

– Бред! – сказал Остерман. – Еще что?

– Школа ремесел должна быть при Академии. Разве не нужны России токари и ювелиры, граверы и повара?

– Россия, – отвечал Остерман, – в хроническом оцепенении варварства, и своих ремесел ей не видать. Русские ленивы, они сами не захотят учиться. Все произведения ремесел должно ввозить из Европы... Еще что у вас, Генрих?

Фик – назвал Остерману – перешел на русский язык:

– Заслоня народ от просвещения выгод, можно ли, барон, попрекать его в варварстве? – спросил Фик.

– Генрих, не забывайте, что я болен...

Фик ушел, а Марфа Ивановна нахлобучила на голову мужа, на парик кабинетный, еще один парик – выходной, парадный.

– Так тебе будет теплее, – сказала заботливая баронесса.

– Марфутченок! – умилился Остерман. – Миленький Марфутченок, как она любит своего старого Ягана...

– Ведаешь ли, кто пришел к нам? – ласково спросила жена.

– Конечно, Левенвольде!

До чего же был красив этот негодник Левенвольде – глаз не оторвать... Рука вице-канцлера лежала на ободке колеса; синеватая, прозрачная, на крючковатом пальце броско горел перстень. Левенвольде изящно нагнулся и с нежностью поцеловал руку барона.

– Я только что от женщины, – сказал он бархатно, подымая глаза. – Но общение с вами мне дороже красавицы Лопухиной!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.